

Кислород

Автор:

[Эндрю Миллер](#)

Кислород

Эндрю Д. Миллер

Англия, конец 90-х. Два брата, Алек и Ларри, встречаются в доме матери, в котором не были много лет. Первый – литератор и переводчик, второй – спортсмен и киноактер. Тень былого омрачает их сложные отношения. Действие романа перемещается из страны в страну, из эпохи в эпоху, от человека к человеку. Один из тончайших стилистов нашего времени, Эндрю Миллер мастерски совмещает в своем романе пласты истории, просвечивая рентгеном прошлого темные стороны настоящего. Роман заслуженно вошел в шорт-лист премии Букера 2001 года.

Эндрю Миллер

Кислород

Эта книга посвящается памяти моих учителей – Малькольма Бредбери и Лорны Сейдж

Andrew Miller

OXYGEN

Copyright © 2011 by Andrew Miller

© Нуянзина Мария, перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Я должен выразить глубокую признательность следующим людям, каждый из которых внес вклад в написание этой книги. Кэти Коллинз, которая стала моим первым вдохновителем. Дебби Моггач, которая познакомила меня со своими венгерскими друзьями, в особенности с Шандором и Бетти Райшнер. Рэчел Джерретт, а также Элисон и Сэму Гуглани, чей опыт в уходе за больными раком оказался просто неоценим. Адаму Бохру, который был моим гидом в Будапеште. Мише Гленни (благодаря любезности Кирсти Ланг), который отвечал на мои вопросы о ситуации на Балканах. Али (Коту) Миллеру и Марси Кац в Париже. Спаркл Хейтер в Нью-Йорке. Раине Чемберлен в Сан-Франциско. Лоранс Лалуйо в Лондоне. Моим родителям и сводным родителям, которые по моей просьбе делились воспоминаниями о Британии пятидесятых. Моей сестре Эмме, которая была снисходительна к моим ошибкам. Моему редактору, Кароль Уэлч, благодаря которой эта книга стала лучше, чем была бы без ее участия. И Саймону Труину, моему агенту, хорошему человеку, на которого всегда можно положиться. Ответственность за любые фактические неточности целиком и полностью лежит на авторе этих строк.

Эндрю Миллер, Лондон, 2001 год

«Ловушка для снов», штукавина из тех, что делают в резервациях американских индейцев и продают за гроши в сувенирных лавках, представляла собой кольцо величиной с ладонь взрослого человека, вырезанное из мягкого дерева и обмотанное кожаным ремнем. По центру кольца, напоминая паутину, шло переплетение синтетических нитей, а в его сердцевине – вот вам и паук – одиноко блестела зеленая бусина. Ларри Валентайн купил ее для своей дочери Эллы в городке под названием Берлога Индейского Медведя, когда был в Северной Каролине на съемках того, что потом оказалось одной из последних его серий в «Генерале Солнечной долины». Теперь она висела на окне у нее в спальне, где, согласно руководству по эксплуатации, должна была ловить в паутину плохие сны, а хорошие – грезы о солнечном утре, прогулках по пляжам

Муира, добрых докторов и любящих папочках – беспрепятственно пропускать к ее кровати.

Он смотрел на нее с высоты своего роста и чувствовал себя великаном: в комнате все было таким маленьким. Она спала под одной простыней, разгоряченно раскинувшись, приоткрыв рот, с придыханием втягивая летний ночной воздух. Спутанные волосы буйной порослью разметались вокруг лица, глаза были плотно закрыты, будто сон требовал от нее пристального внимания, как раскраски – только бы не залезть за черный контур, – или задачки, которые она решала, неуклюже водя карандашом в учебнике.

Он начал поиски без большой надежды на успех, хотя список его находок был по-прежнему длиннее списка Кирсти, что смутно ее раздражало, будто это означало, что он знает дочь лучше, что у него есть интуиция, которой сама она лишена. Он начал с джинсов, которые Элла надевала в тот день: вывернул все карманы, но нашел только ошметки бумажного носового платка, серебряный пятицентовик и мишку Гамми. Потом отвернул голову кукле-толстушке – если нажать, такие куклы жалуются, что обмочились, или просят есть, или говорят: «Я тебя люблю». Однажды Элла спрятала там старинную серебряную цепочку, которую Кирсти получила в наследство от бабушки Фрибергс, но сейчас в голове не было ничего, кроме пустоты и ядовитого душка от остатков клея, которым череп был промазан изнутри. Потом он обследовал коллекцию ракушек, беря их одну за другой и встряхивая, в надежде, что хоть одна загремит. Тишина. Музыкальная шкатулка, которую он привез ей из Лондона, была еще одним давним тайником, тем более хитроумным, что его нельзя было обыскать, не выдав себя. Он быстро откинул крышку, перевернул шкатулку и тряхнул – она раз пять сладкоголосо тренькнула, но в его подставленную руку ничего не упало. Он выдвинул ящики шкафа и прощупал аккуратно сложенные трусики и маечки, свернутые носочки и колготки, потом приподнял переднюю стенку кукольного домика и, взяв фонарик с кольца для ключей, осветил под кроватками размером с карточку «Американ экспресс» и шатким столиком-паучком, где он однажды обнаружил свои запонки с эмблемой Международной теннисной федерации, но сейчас там было только деревянное кукольное семейство в одежках из фетра: мама, папа и двое неуклюжих детишек сидели, как заколдованные, перед фарфоровой ветчиной.

Он отошел к окну, растер затекшую шею и посмотрел сквозь паутину «ловушки для снов» туда, где роились огни залива, особенно яркие на фоне ночной черноты. Она, несомненно, делает успехи. Поначалу она еще не знала уловок и

хитростей, нужных для того, чтобы хорошенько что-нибудь спрятать, но постепенно всему научилась. Ее тайники становились все мудренее, в этом был даже некий вызов, что подкрепляло теорию профессора Хоффмана о том, что «позаимствованные» предметы только и ждут, чтобы их нашли. Это было не воровство, не простая детская клептомания. Хоффман еще не придумал этому названия. Он пока только собирал факты.

Он услышал, как она заворочалась под простыней, и прошептал:

– Эл, ты спишь?

Мягко ступая, он подошел к кровати и посмотрел на нее, будто ее физический облик мог дать ему ключ – как теплый, смазанный иероглиф. Теперь она спала на левом боку, правая рука свешивалась с кровати, вдоль которой Роза – до невозможного добродушная горничная из Чихуахуа – расставила детскую обувь, пару за парой, по сезону. Секунду помедлив, он перевел взгляд с девочки на обувь и с хрустом в коленях присел на корточки – старые проблемы с хрящами, заработанные за годы беготни по кортам. Оставив сандалии без внимания, он начал с кроссовок, потом перешел к школьным туфелькам, а потом – к красным резиновым сапожкам, которые он называл «веллингтонами», а Кирсти – «галошами». Последними стояли зимние ботинки на овечьем меху, которые Алиса, с оглядкой на английские зимы, прислала Элле ко дню рождения, когда той исполнилось шесть лет и которые к осени уже станут ей малы. Он перевернул их, потрянул и погрузил пальцы в мех. В носке левого ботинка он нащупал что-то гладкое, размером с капсулу дероксата и действуя пальцами как пинцетом, вытащил найденный предмет из ворса и поднял повыше, чтобы рассмотреть при лунном свете, хотя уже и так понял, что это была пропавшая сережка, пару которых Кирсти оставила на часок без присмотра на краю умывальника в ванной.

Конечно, это означало, что предстоит очередной разговор – мягким укоризненным тоном, уже в который раз с тех пор, как полтора года назад пропало первое кольцо; Элла сидела на стуле, болтая ногами над ковром, и в ее глазах поблескивал дерзкий огонек, словно неспособность родителей понять тайный смысл этой игры заставляла ее по-детски их презирать. Хоффман, за сто пятьдесят долларов в час, предупредил Ларри и Кирсти, чтобы их увещевания ни в коем случае не травмировали девочку.

– Здесь нужна большая деликатность, – говорил он, улыбаясь из-за необъятного, отполированного до блеска стола. – Это все равно что выращивать бонсай. – И он указал на коллекцию крошечных ивовых деревьев с густой блестящей листвой, которым, судя по всему, у него в кабинете – в тени и отфильтрованном воздухе – жилось припеваючи.

На часах у кровати лапка Микки-Мауса в белой перчатке подобралась к назначенному времени. Два ночи. В Англии сейчас десять утра. Но несмотря на свое обещание, он слишком устал, чтобы звонить Алеку, слишком устал, чтобы переварить то, что может услышать. Лучше позвонить завтра, может быть, из Лос-Анджелеса. Завтра уже скоро. Он взял ингалятор Эллы и потрянул его, чтобы проверить, достаточно ли в баллончике сальбутамола. Он слышал, что в продаже появился новый, улучшенный ингалятор, под названием «Смарт мист», с микропроцессором, чтобы отмерять точнейшую дозу лекарства, и кое-какими другими новшествами, позволяющими регулировать силу воздушной струи. Его разработали ученые из Калифорнийского университета. Кирсти хочет купить Элле такой ингалятор – у некоторых девочек в ее классе он уже был.

Он посмотрел на нее в последний раз, прежде чем отправиться в спальню для гостей, где ему предстояло провести остаток ночи. Выражение ее личика смягчилось. Если прежде – пусть и очень смутно – она чувствовала его присутствие, то теперь она была далеко, в закоулках лабиринта снов, ее душа вырвалась на свободу, лицо удивительным образом расслабилось и обрело такое совершенство, что на секунду он ощутил неодолимое стремление разбудить ее, чтобы вернуть в реальный мир. Он наклонился низко-низко, так, что почти коснулся ее. И словно какой-нибудь нежный великан-людоед из сказки, которую детям давно уже не читают, тихонько вдохнул ее дыхание.

Ночной дозор

Но ты не можешь себе представить, какая тяжесть здесь у меня на сердце...

Гамлет (Акт V, сцена 2) Перевод М. Лозинского

Отцовские часы в доме пробили назначенное время. Бой часов еле доносился до того места в саду, где он стоял – худой молодой человек в легком свитере и бесформенных синих брюках, – протирая стекла очков уголком скомканного носового платка. Последний час он провел со шлангом в руках, поливая клумбы и давая молодым деревцам хорошенько напиться, как ему и было велено. Теперь, аккуратно свернув шланг, он направился обратно в дом, в сопровождении кошки, тенью скользившей в зарослях дельфиниума, пионов и пышных восточных маков. Из окна Алисы, под самой крышей, сквозь неплотно задернутые шторы лился тусклый свет.

Наступал рассвет третьего дня с тех пор, как он вернулся в «Бруклендз» – дом в одном из графств к юго-западу от Лондона со стенами из серого камня, коричневой черепичной крышей и ветхой беседкой, – в этом доме он провел первые восемнадцать лет своей жизни. Собственную квартирку в Лондоне он запер, и его сосед, мистер Беква, чья одежда навсегда пропиталась крепким табачным духом и запахом подгоревшей еды, согласился пересылать ему почту (вряд ли ее будет много). Беква даже вышел на улицу, чтобы проводить его, и, зная, зачем и куда он едет, состроил нарочито скорбную гримасу.

– Прощай, друг Алек! Ты славный парень! Прощай!

Уондсворт-Бридж, Парсонз-Грин, Хаммерсмит. И дальше на запад по Четвертой автостраде мимо загородных супермаркетов и засеянных рапсом полей. Он так часто ездил по этой дороге с тех пор, как Алисе поставили страшный диагноз, что зачастую совершал свое путешествие машинально, не замечая ничего вокруг, и вдруг с удивлением обнаруживал, что проезжает последний поворот за птицеферму, а небо все разворачивает перед ним свое сияющее полотно, которое тянется к устью реки и еще дальше – к Уэльсу. Но на этот раз, по мере того как знакомые вехи одна за другой всплывали в зеркале заднего вида и уносились прочь, на него все больше накатывало чувство утраты, и, внося чемодан в коридор «Бруклендза», он отчетливо понял, что приехал домой действительно в последний раз и что половина прожитой жизни вот-вот стечет под откос, как многотонный оползень. Он простоял там пятнадцать минут, среди охапок пальто и шляп, старых ботинок, старых теннисных туфель, вглядываясь в преувеличенно яркий снимок на стене рядом с дверью в комнаты: он сам, Ларри и Алиса. Снимал, скорее всего, Стивен – вот они стоят, держа друг друга под

руки, в засыпанном снегом саду – двадцать лет прошло. Сверху из комнаты матери доносился шелест радио и резкий кашель – он опустил голову и сам себе задал вопрос: есть ли на свете то, что могло бы ему помочь?

Чтобы попасть из сада в дом, нужно было спуститься по трем замшелым ступеням – с газона на террасу, где была стеклянная дверь в кухню. Здесь, у вытертого коврика, Алек сбросил туфли и пошел через дом к лестнице на второй этаж, надеясь, что Алиса уже спит и он ей больше не нужен. Ей предлагали перебраться в комнату на первом этаже, но она отказалась, несмотря на то, что все – доктор Брандо, приходящая медсестра Уна О’Коннелл и даже миссис Сэмсон, которая, сколько Алек себя помнил, приходила раз в неделю утром, чтобы сделать уборку, – убеждали ее согласиться, говоря, насколько ей будет удобней и проще в погожие дни выбираться в сад. Разве нет внизу прекрасной комнаты, которая вот уже несколько лет как пустует, если не считать солнечных зайчиков, что днем выпрыгивают из зеркала? Но Алиса лишь улыбалась им улыбкой ребенка, чью незащитность болезнь только умножила, и говорила, что слишком любит вид из своего окна: картофельное поле, церковь, бегущие вдалеке холмы (которые, как она однажды сказала, напоминали мальчика, который улегся в траву на живот). И потом, ее спальня всегда была на втором этаже. Слишком поздно, чтобы «переделывать весь дом». Так что вопрос был закрыт, хотя порой в сердцах Алеку хотелось рассказать ей, каково это – быть свидетелем ее двадцатиминутной пытки, видеть, с каким трудом она карабкается вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, впиваясь в перила пальцами, словно когтями.

Кое на что она согласилась. Сидя принимала душ, вместо того чтобы мыться в ванне, на унитазах пользовалась приподнятым пластиковым сиденьем, а в свой последний приезд Алек соорудил ей звонок, спустив провод по лестнице и прикрутив коробку звонка к балке над кухонной дверью. Они даже посмеялись немного, когда его испытывали: Алиса нажимала на большую белую кнопку рядом с кроватью (жалуясь, что она гудит, как пароходная сирена), а Алек ходил по дому, проверяя уровень звука, после чего вышел в сад и жестом показал Уне, которая нетерпеливо выглядывала из окна спальни, мол, отлично. Но уже к вечеру Алиса решила, что звонок – «это глупость», к тому же «совершенно бесполезная», и смотрела на Алека так, будто, установив его, он проявил бестактность: лишней раз подчеркнул, насколько она больна. Еще раз неоспоримо доказал, насколько ее состояние неоспоримо безнадежно.

Она не спала, когда он вошел. Полулежала на подушках в ночной рубашке и стеганом халате и читала книгу. В комнате было очень тепло. За день солнце накалило черепицу, к тому же на полную мощность работал обогреватель, и каждый предмет задыхался в испарине, добавляя к общему букету свой собственный запах, и этот дух, полуинтимный, полумедицинский, висел в воздухе, словно взвесь. Цветы в вазах, одни из сада, другие от друзей, вносили ноту оранжерейной сладости, кроме того, были еще духи, которыми она опрыскивала комнату, используя в качестве роскошного освежителя: в спальне они не очень чувствовались но, когда Алек выходил, их привкус оставался у него во рту целый час.

Чистота – или ее иллюзия – стала для нее наваждением, будто болезнь была чем-то противоречащим гигиене и ее можно было скрыть под вуалью запахов. С кошачьей тщательностью она мылась по часу утром и вечером в совмещенной с туалетом ванной, и это было единственной физической работой, с которой она еще могла справиться. Но ни мыло, ни ночные кремы, ни лавандовый гель для душа не могли до конца истребить то, что источали ее пораженные болезнью внутренности, хотя вряд ли можно было придумать что-нибудь более невыносимое, чем первый курс химиотерапии, проведенный два года назад, когда она сидела, закутанная в пледы, на диване в гостиной – чужая и жалкая, и пахла, как набор юного химика. Отросшие потом волосы оказались сверкающе белыми и постепенно превратились в копну снежных локонов до самого пояса. Она говорила, что это единственное, чем она еще может гордиться, – и отказалась от повторного курса лечения, когда ремиссия закончилась; теперь самое большое удовольствие и утешение ей доставляли визиты ее парикмахерши Тони Каскик, чьей клиенткой она была с незапамятных времен. Они приспособились к обстоятельствам: поскольку и речи быть не могло о том, чтобы Алиса ездила в Нейлси – это двадцатиминутное путешествие стало ей не по силам, – раз в неделю Тони приезжала сама и укладывала волосы Алисы тяжелой щеткой, пока та сидела, повернув лицо к свету и закрыв глаза, и улыбалась, слушая салонные сплетни. Иногда Тони брала с собой своего пуделя, Мисс Сисси, красавицу сучку в тугих черных кудряшках, и Алиса гладила ее узкую голову, позволяя лизать себе запястья, но вскоре собаке это надоедало, и она убегала обнюхивать покрывало, складки которого пестрели пахучими пятнами.

– Мам, ты как?

Он стоял на пороге, руки в карманах, едва заметно перекатываясь с носков на пятки.

– Хорошо, милый.

– Нужно что-нибудь?

Она покачала головой.

– Точно?

– Спасибо, милый.

– Может, принести чаю?

– Спасибо, не стоит.

– Я кое-что поделал в саду.

– Хорошо.

– А может, горячего молока?

– Нет.

– Ты не забыла выпить зопиклон?

– Нет, милый, не забыла. Да не волнуйся ты так.

Она нахмурилась – строгая пожилая директриса, которой досаждают неугомонный ученик. Ее взгляд приказывал выйти вон.

– Ладно, читай, – сказал он. – Я еще зайду.

Она кивнула, и это движение вызвало у нее приступ кашля; но когда он кинулся к ней (зачем, что он собирался сделать?), она замахала на него, гоня прочь, и он вышел, помедлив на площадке перед дверью, пока ее кашель не успокоился, а потом медленно пошел вниз по лестнице, покраснев от внезапно нахлынувшего непонятного чувства.

Внизу лестницы на стене – не увидеть его было невозможно – в пластиковой рамке висел разворот с очерком о Ларри из американского журнала про знаменитостей. Львиную часть очерка составляли фотографии, а в заглавии было написано: «Любимчик Америки» (с сердечком посередине): на первой странице красовался старый снимок девятнадцатилетнего Ларри, потрясающего ракеткой перед трибунами после победы над седьмым номером мирового рейтинга – Эриком Мобергом – на Открытом чемпионате Франции 1980 года. Ниже – снова Ларри, но уже погрузневший, загорелый до черноты, стоит, прислонившись спиной к серебристому «ягуару» перед небоскребом «Утюг» на Манхэттене, одетый на манер молодого и удачливого биржевого дельца, собравшегося в гольф-клуб, – снято в те времена, когда он работал на рекламный цирк Натана Слейтера в Нью-Йорке. Потом – неизбежный кадр из «Солнечной долины», где Ларри, в белом халате и с суровым лицом, прижимает дефибрилляторы к грудной клетке сексапильной жертвы сердечного приступа. Но самой большой из фотографий – почти на всю правую страницу – был семейный портрет Ларри, Кирсти и трехлетней Эллы, сидящих на диване в своем «живописном доме в престижном районе Сан-Франциско». Ларри обнимает Кирсти за плечи, и та вся светится от радостного возбуждения – счастливица, заарканила «истинного джентльмена», звезду «Солнечной долины», – а Элла пристроилась между ними, но на ее личике застыло такое скорбное выражение, что нетрудно было представить себе мольбы фотографа (согласно подписи – Боба Медичи): «Не могли бы мы попросить маленькую леди тоже улыбнуться?» Но даже в три года Элла была упряма, как ослик, и на уговоры не поддавалась. С тех самых пор, как очерк занял свое место на стене, миссис Сэмсон – поправляла ли она рамку или протирала ее желтой тряпкой для пыли – не могла удержаться, чтобы не проворчать себе под нос: «Прости господи...» или «Стыд-то какой...» – и хмурилась, словно недовольство ребенка относилось к ним ко всем.

На кухне Алек вынул из заднего кармана брюк сложенный листок бумаги, на котором убористым почерком Уны было расписано, какие лекарства должна принимать Алиса, когда и в каких дозах. Антидепрессанты, противорвотное, обезболивающее, слабительное, стероиды. На столике у ее кровати стояла

пластмассовая коробка, разделенная изнутри на сегменты: синий – для утренних лекарств, оранжевый – для дневных и вечерних, но болезнь, усталость, а может, и сами таблетки стали причиной провалов, пробелов в памяти, и в день приезда Алека Уна, сидя рядом с ним на шаткой скамеечке у беседки, посоветовала ему незаметно для Алисы следить за пополнением и расходом содержимого этой коробки, и он сразу же согласился, довольный: уж с таким-то заданием он справится. Он сделал на листочке отметку, взял с кухонного стола свой кожаный портфель и вышел на террасу.

В голубоватом сумраке висел бледный полумесяц, а в одном из квадратов небесной карты комета Хейла – Боппа – известная всему миру громадина из льда и пыли – неслась обратно к небесному экватору. Ранней весной он часто наблюдал за ней, сидя на утыканной антеннами крыше своего дома, и ему с трудом верилось, что этот гигантский эллипс исчезнет бесследно, не став причиной какого-нибудь несчастья или даже несчастий – бесчисленных роковых случайностей, что проливаются звездным дождем из хвоста кометы, – но, по крайней мере сейчас, небо не готовило никаких сюрпризов, его механизм работал как часы, не предвещая ничего из ряда вон выходящего или опасного.

Он зажег фонарь и повесил его за проволочную ручку на железную скобу рядом с кухонной дверью – пусть особенной темноты в ближайший час не предвиделось, ему нравился резкий запах парафина и шипение фитиля, от которого на душе становилось теплей. Он настроился на работу. Пить ему было нельзя, а курить он так и не научился. Его отдушиной была работа, и, усевшись на один из старых стульев с брезентовыми сиденьями, он вытащил из портфеля рукопись, словари, маркеры и принялся читать, поднося листы близко к очкам, – поначалу сосредоточиться было трудно: мыслями он все еще был наверху, в комнате матери. Но постепенно работа увлекла его в упорядоченный, с разрядкой в два интервала мир текста, и в ритме своего дыхания он принялся шептать слова на языке, который сделал для себя наполовину родным.

2

На узкой кухоньке в квартире на пятом этаже дома по улице Делаамбр Ласло Лазар готовил к званому ужину эскалопы из телятины «en papillote»[1 - В обертках (фр.). (Здесь и далее – прим. ред.)]. Этот рецепт требовал особой

аккуратности и точности, поэтому, когда одна из приглашенных, Лоранс Уайли, сообщила, что ее муж, художник Франклин Уайли, принес с собой пистолет и размахивает им посреди гостиной, это больше раздосадовало его, чем встревожило. Эскалопы – нежно-розовые, почти прозрачные – лежали на разделочной доске. Он только что собирался отбить их деревянным молотком.

– Пистолет? Какого черта, где он его взял?

– У какого-то копа, с которым пьет в «Лё Робине». Бога ради, Ласло, скажи ему, чтобы он убрал его, пока чего-нибудь не случилось. Тебя он послушает.

Она стояла на пороге с широко открытыми глазами, прямая, как танцовщица, волосы убраны с лица серебряной заколкой. В руках – сигарета, одна из тех, что продаются в белых или почти белых пачках и которые Ласло считал совершенно бессмысленными.

– Франклин никого не слушает, – ответил он.

– А вдруг пистолет выстрелит?

– Не выстрелит. – Он принялся отбивать первый эскалоп. – Он не настоящий. Или просто старье, из которого вынимают начинку и продают коллекционерам или психам вроде него. Рядом с Биржей есть магазинчик, где на витрине полно такого добра.

– Он выглядит как настоящий, – сказала она. – Он черный.

– Черный? – Он улыбнулся. – Лоранс, он просто выпендривается. Хочет произвести впечатление на Курта. Помочь хочешь? Мне нужно порезать грибы. И четыре луковицы.

Пожав плечами и надув губки, она вошла в кухню, сняла кольца, положила их на кухонный стол и, взяв большой нож фирмы «Сабатье» с черной рукояткой, двумя точными ударами обрезала макушку и хвостик у первой луковицы.

– Он стал просто невозможен. – Она завела старую пластинку. – Целыми днями сидит в студии. Ничего не делает. Глотает таблетки, а какие – не показывает.

Лжет. Я даже не знаю, любит ли он меня еще.

– Конечно любит. Да ему без тебя и дня не прожить. И почему ты говоришь, что он «стал» просто невозможен? Он и раньше таким был.

Она покачала головой, со щеки слетела слеза и разбилась о колечки лука.

– Я не могу избавиться от мысли, что должно произойти что-то ужасное. Правда ужасное.

Ласло оторвался от работы и обнял ее: у него в руке молоток, у нее – нож.

– Я так устала, – сказала она, уткнувшись ему в шею. – Я всегда думала, что когда мы станем старше, все будет проще. Яснее. Но все еще больше запутывается.

– Мать Божья! – заорал Франклин, вваливаясь на кухню, – его фигура заняла все свободное пространство. – Венгерский педераст лапает мою жену! Отпусти ее, ублюдок!

Ласло взглянул на руки американца:

– Что ты сделал со своей штуковиной?

– С револьвером? Отдал его твоему прекрасному арийцу. Как насчет приличной выпивки, а, скупердядя?

– Приличная выпивка будет на кое-каких условиях, – ответил Ласло как можно более суровым тоном. – Ты же знаешь, что сегодня придет Кароль. Давай проведем этот вечер в тишине и покое.

– Я нравлюсь Каролю, – заявил Франклин. Он открыл морозильник и вытащил бутылку «Житной». От теплого кухонного воздуха ее стекло тут же запотело. – Русский самогон!

– Польский, – возразил Ласло. – Русские пьют бензин. Солярку.

– Ничего не имею против солярки, – сказал Франклин, засовывая бутылку в карман пиджака. – Можешь продолжать обжиматься с моей женой. Я тебя пристрелю потом.

– Ты промажешь, – ответил Ласло, отворачиваясь обратно к разделочной доске. – Обязательно промажешь.

Давний житель шестого округа, автор пьес «Скажи “нет”, скажи “да”» (1962), «Вспышка» (1966), «Король Сизиф» (1969, его первая пьеса на французском) и еще тринадцати произведений, хорошо принятых всеми, кроме критиков крайних левых или крайних правых, которые считали его работы удручающе независимыми, бывший художественный директор «Театра Арто» в Сан-Франциско, читающий лекции по драматургии и восточноевропейской литературе в Сорбонне (понедельник и вторник после обеда), Ласло Лазар отбивал телятину и вспоминал, как познакомился с четой Уайли однажды вечером шестьдесят первого в джаз-погребке на улице Сен-Бенуа, когда та женщина, что стояла рядом с ним и резала овощи, жалуясь на бессонницу и прочие нелады со здоровьем, возникла из облака табачного дыма – волосы коротко подстрижены, как у Джин Себерг в фильме «На последнем дыхании» [2 - Фильм Жана-Люка Годара (1959).], – и улыбнулась ему, садившемуся за столик вместе с полудюжиной других эмигрантов, бледных молодых людей с плохими зубами, которые крутили сигареты из рисовой бумаги и потягивали выпивку как можно медленнее, отчаянно пытаясь сэкономить. Ее улыбка рассказала ему самое главное, что он хотел о ней знать: что она добра и не более таинственна, чем любой из его прежних знакомых. Иштван пригласил ее к ним за столик и нашел для нее стул, но говорила она именно с Ласло, склонившись к нему под визг саксофонов, и смеялась вместе с ним, и слушала его густо окрашенный акцентом французский. Судьба, конечно, если верить в подобные вещи – в фатум. А потом, тогда же вечером, произошла еще одна встреча: она представила ему коротко стриженного американца – высокого, длиннорукого, атлетически сложенного типа, с пристальным голубым взглядом фермера из голливудских фильмов. Франклин Шерман Уайли был всего лет на пять старше Ласло, но, стоя позади Лоранс – рука на бретельке ее платья, в старой военной рубашке, заляпанной пятнами краски, которыми он гордился, словно медалями, – он излучал полную обаяния, мужественную уверенность в себе, которая была у Петера, но которой, как с прискорбием замечал Ласло, отчаянно не хватало в его собственной жизни.

Когда они вышли на сверкающий звездами кислород Сен-Жермен и распрощались, стоя посреди узкой улицы, сердце Ласло, всегда легко воспламеняемое, вспыхнуло; но, хотя он желал их обоих, в мечтах он целовал именно Франклина, который это скоро понял и с тех самых пор добродушно с этим мирился. На следующей неделе они вместе пошли на «Последнюю запись Крэппа»[3 - Пьеса С. Беккета (1906–1989), написанная в 1958 г.] в исполнении Майкла Дули в театре Сары Бернар, а потом скрепили свою дружбу – всегда очень хрупкую конструкцию, если она опирается на три ноги, – грандиозным походом к Сакре-Кёр, встретив рассвет в баре рядом с Лё Галль и позавтракав свинными ножками с эльзасским пивом.

Такой вот сценарий. Он и понятия не имел, сколько еще вечеров и ночей они провели вместе. Сто? Пятьсот? Но из всего, что случилось с Ласло за следующие годы – а в его жизни действительно много чего случилось: любовники обоего пола, поездки в Италию, Испанию и Америку, зимы в студиях с небезопасным отоплением в виде керосинки, бесконечные черновики и наброски пьес, – именно эти шатания по Парижу с Франклином и Лоранс, их настроение, замешенное на крайней серьезности и отвязном дурачестве, стали причиной того, что время с шестьдесят первого по шестьдесят девятый, от Алжирского кризиса до прилунения «Аполлона», сейчас, когда он оглядывался назад с высоты своего пятьдесят девятого лета, вызывало у него почти невыносимые приступы ностальгии. Прежние годы принадлежали к совершенно другому миру. Холодные классы. Молодежные демонстрации. Речи по радио. Рассказы бабушки и дедушки про адмирала Хорти на белом коне. Покрытые морщинами, изнуренные лица родителей – и мать и отец были врачами в больнице имени Шандора Петефи. И конечно же, революция. Поющий Будапешт.

Потом, словно заплыв дальше, чем они сами предполагали, трое друзей попали в неумолимые жернова успеха. Огромные, написанные красками из аэрозольных баллончиков полотна Франклина раскупались заботящимися о собственном имидже банкирами и дельцами из Нью-Йорка вроде семейства Вильденштайн, а пьесы Ласло, в которых тот настойчиво твердил о тщетности любых действий, показались кому-то пророческими, и с тех пор их премьеры собирали толпы шикарной и знаменитой публики. Лоранс стала желанной гостьей гляцевых журналов по обе стороны Атлантики («Дома у миссис Франклин Уайли», «LA BELLE MUSE FRANZAISE DE FRANCLIN WYLIE»[4 - Очаровательная французская муза Франклина Уайли (фр.)]), но она разменяла четвертый десяток без детей и со множеством морщинок, которыми беспокойство расчертило ее лицо. Тот шарм, что заставлял мужчин любого возраста искать ее дружбы и бороться с искушением положить руку ей на бедро, давал сбой с каждой новой интрижкой

мужа, которых он почти не пытался скрывать. Франклин стал специалистом по части бешенства. В свой сороковой день рождения, влекомый демонами, о чьих именах Ласло мог только догадываться, он на полной скорости направил машину в бок туристического автобуса на улице Эколь, полного до смерти перепуганных, но чудесным образом не пострадавших пожилых американцев, и от последствий его спас только американский посол, который убедил полицию счесть эту выходку в высшей степени артистичной, а не в высшей степени преступной. Два года спустя он избил – без всякой видимой причины – хозяина ливанского ресторанчика в Бельвилле, с которым вот уже много лет поддерживал дружеские отношения. А совсем недавно его оштрафовали на пять тысяч франков за то, что он швырнул стул в официанта в закусочной «Липп» (у парня были гусарские усы).

Но самым пугающим, самым печальным и непонятным из этого списка был день, когда он зашел на улицу Дегерри и увидел, как Лоранс скоблит стену студии, счищая засохшую еду, а пол сверкает осколками битых стаканов и чашек. С той минуты он больше не пытался их понять, ведь если ты не жил с кем-нибудь с детства, не дышал с ним одним и тем же воздухом, в вашей жизни всегда останется много такого, чего вы никогда не сможете объяснить. Тебе придется любить, если любишь, – из верности, не задавая никаких вопросов.

Он посыпал эскалопы солью и перцем и сбрызнул лимонным соком. Большая сковородка «Крёзе» уже раскалилась. Масло – сливочное *demi-sel* [5 - Слабосоленое (фр.).] из того же магазина, что и мясо, – пузырилось и потрескивало. Он слегка обжарил эскалопы с обеих сторон и выложил их на массивное фарфоровое блюдо с тонкими голубыми прожилками – венами под кожей-глазурью. Потом коснулся волос Лоранс легким поцелуем, взял у нее разделочную доску, спассеровал лук с грибами и добавил к ним пригоршню мелко нарезанной петрушки. И наконец завернул телятину, грибы, петрушку и лук вместе с кусочками ветчины и тонко нарезанным пармезаном в вырезанные сердечком листы пергаментной бумаги, которую тщательно смазал маслом. Когда он открыл духовку, ему в лицо мягко пыхнуло жаром. Он разложил сверточки на среднем противне и закрыл дверцу, оставив на металлической ручке жирные отпечатки.

– Двадцать минут, – сказал он.

– Мне уже лучше, – сказала Лоранс, ладонью отводя прядь волос, упавшую ей на бровь.

- Вот и хорошо, - ответил Ласло. - Мы слишком стары, чтобы быть несчастными.

И в ту же секунду прозвучал выстрел.

3

Алиса лежала, утопая головой в подушках, и промокала глаза розовым комочком бумажного носового платка. Она не знала, почему плачет, почему она расплакалась именно сейчас, хотя у нее и было тяжело на душе после разговора с Алеком. Конечно же, он докучал ей, стоя в ногах кровати и пялясь сквозь свои очки, «стекла», как он их называл, - наверное, воображал себя доктором. Но она была груба с ним, и теперь ей было стыдно. Остается лишь свалить все на лекарства. Как узнать, кто виноват? Как ей узнать, где она, прежняя Алиса, а где вступает в свои права какой-нибудь вредный побочный эффект? «Неужели это я? - думалось ей. - В кого я превратилась?»

Она затолкала бумажный комок в рукав ночной рубашки и ощупала рукой стеганое, на гагачьем пуху одеяло в поисках книги, старого издания «Черного тюльпана» из «Библиотеки классики». Было трудно подыскать что-нибудь такое, что не сразу ее изнуряло или, по крайней мере, достаточно легко читалось. Livre: quel qu'il soit, toujours trop long[6 - Книга: какая бы ни была, всегда слишком длинна (фр.)]. И все вокруг совали ей книги, будто рак был чем-то вроде скучного круиза, во время которого ей было нужно отвлечься. Приятно провести время. Она выбирала те книги, что покороче, или книги, которые она уже читала когда-то, и они немного помогали, скорее всего, потому, что утомляли ее более интересным способом, чем все остальное.

Уна как-то предложила ей слушать «говорящие книги». Например, «Большие надежды» в исполнении Дерека Джекоби. Но слушать - не то же самое, что читать. Не так интимно. К тому же глаза у нее были в порядке. Ее глаза относились к тому немногому в ее организме, что работало просто отлично, как раньше. Как и волосы, которые все росли и росли, словно не имели ни малейшего представления о том, что происходит в остальных частях тела...

Нужно будет поговорить с Уной насчет лекарств. Анаболики больше не убивали боль, вся эта химия лишь вызывала у нее запор, и это жутко ее раздражало. Она хотела перейти на следующую ступень. Непенте? Или ороморф – он, как ей говорили, по вкусу похож на виски. Может, и получится. Или лучше поговорить прямо с Брандо? Он – царь и бог, последнее слово всегда за ним. Он ведь обещал заехать к концу недели. Присядет на край кровати и будет болтать. Потом придется пару минут разглядывать потолок, пока он ощупывает ее грудь и шею, извиняясь за свои холодные руки, которые вовсе не были холодными. Секретные переговоры с Уной на первом этаже. Миллиграммы того, миллилитры этого. Выдаст новый прогноз. И уйдет.

Как люди справлялись с этим раньше? Во времена Дюма? Служанка, снующая на цыпочках с ночным горшком. Ароматические шарики, чтобы заглушить зловоние. Доктора и аптекари с их никчемными снадобьями. Теперь превращение людей в бесчувственных кукол стало целым искусством. Боль изучают в специальных лабораториях, а во Всемирной организации здравоохранения даже разработали «лестницу» – анальгетики назначают в соответствии со ступенью, на которой вы находитесь, и теперь вы уже не можете просто сказать, что вам больно. Ей приходилось делать пометки для Уны в маленьком красном ежедневнике «Сильвер-стоун». Резкая. Тупая. Толчки. Волны. Один раз она поставила боли оценку «семь». «Десять» должно было обозначать такую боль, какую просто невозможно себе представить. Она оставила эту оценку на крайний случай. А потом, если повезет, как кузине Розе из Брансгора, у которой в желудке выросла опухоль размером с футбольный мяч, вам пропишут сироп под названием «коктейль Бромптона» и позволят умереть смертью семнадцатилетнего наркомана – бог знает, что ей мерещилось в обступивших ее тенях. Но это было давно. Сейчас все наверняка намного пристойней. Безобидная с виду таблетка, которую можно запить глотком чая. Та, что лежит в особой коробочке, похожей на дароносицу, в шкафу, ключ от которого хранится у Брандо.

Или ее заставят жить дальше? Жить до тех пор, пока она не перестанет узнавать самое себя? Она посмотрела на коробочку с таблетками на тумбочке у кровати – ее отделения напоминали барабан пистолета. Если она примет недельную дозу таблеток сразу, запив, скажем, большой порцией скотча, это подействует? Можно ли знать наверняка? Конечно, хуже всего были ночи. Дни она еще кое-как выносила, несмотря на случавшиеся иногда минутные срывы, когда она спрашивала себя, к чему все эти усилия, зачем продолжать жить, если впереди только такое. Она знала теперь, что значит отвернуться лицом к стене, и испытывала постоянное искушение сказать «нет» остатку жизни и «да» – забвению. Если оно было тем, чем казалось. Забвением. Но не сейчас, чуть

погода. Ей еще иногда выпадало немного счастья. Нечаянные маленькие радости. Открытка от старой подруги. Зазеленевшая трава. Чепуха по радио, от которой ее разбирал смех. Даже пение миссис Сэмсон на кухне – в пятьдесят лет та распевала, как девчонка. Такие вещи трудно объяснять – как ни старайся, все равно выйдет глупо. Но каждый раз, когда опускались сумерки, каким бы прекрасным ни был вечер, она не находила себе места. Задернутые шторы не помогали. Ночь за ними сгущалась и давила на стекла, как вода.

Она открыла книгу – если прочитать еще страницу-другую, поможет ли это уснуть? Книга была очень маленькая и тонкая, чуть больше ладони. Корешок темно-синего переплета затрепался. Очень тонкая бумага, такую делали во время войны: перевернешь страницу слишком быстро – и она порвется. Эту книгу подарил ей отец. Десмонд Уилкоккс. Капитан. Он не сделал дарственной надписи, и она написала ее сама – черными чернилами, на странице рядом с иллюстрацией, где Роза показывала Корнелиусу драгоценный тюльпан, стоя в дверях его тюремной камеры.

«Алисе от папы. 29 апреля 1953 года».

Он купил ее в одной из своих деловых поездок. Где-нибудь в Бате, Вэллсе или Солсбери. Когда-то туда можно было ездить по делам. Гравий. Насосы для оросительных сооружений. Даже что-то вроде выращивания грибов в заброшенной казарме рядом с городком Чард. Но еще ребенком она поняла, что слово «дела» зачастую лишь служило прикрытием для бесцельных разъездов на мотоцикле – драндулете, похожем на скелет гончей, черном, как смоль, оглушительно тархтевшем и пускающем фейерверки дыма, когда его заводили. Она помнила отца – хотя на самом деле она помнила его фотографию – верхом на мчащемся мотоцикле, в кожаной куртке, старых десантных ботинках и защитных очках, как у барона фон Рихтхофена[7 - Имеется в виду летчик Манфред фон Рихтхофен, участник Первой мировой войны.]. Он не говорил, когда вернется. Через несколько часов. Через несколько дней. Они с матерью сидели дома вдвоем и прислушивались. Если день был тихий, шум двигателя был слышен до самого Вест-Лавингтона.

Было ли хоть раз, чтобы он вернулся домой без подарка? Из кармана его куртки всегда выглядывал то сверточек, то бумажный пакетик, то петелька белой упаковочной ленты. И он отдавал ей это как нечто совсем пустяковое, подобранное на дороге. И никогда не ждал благодарности. Он терпеть не мог

«шума по пустякам». Просто отдавал ей подарок и шел полоть сорняки, или чинить ящики для рассады, или обмазывать креозотом забор, или делать что-нибудь еще, и эта круговерть бесчисленных трудоемких домашних дел все не кончалась, год за годом, пока вдруг однажды не остановилась.

«И вот 20 августа 1672 года, как мы уже упоминали в начале этой главы, весь город толпой направился в Битенхоф, чтобы поглазеть на то, как Корнелиуса де Витте выпустят из тюрьмы и отправят в изгнание...»

Ей было четыре года, когда он ушел на войну, и до того как война закончилась, она видела его дважды. Человека в хаки, который дарил ей шоколадки «Кэдбери» в обертках из вощенной бумаги. Когда он вернулся домой насовсем, он стал героем. Тунис, Сицилия, Арнем. Особенно Арнем[8 - Имеется в виду эпизод Второй мировой войны: высадка англоамериканского воздушного десанта возле нидерландского города Арнем. Во время операции союзники понесли большие потери.]. Прежде всего Арнем. Второй батальон десантного полка. Один из шестнадцати, кто выжил. Получил орден «За боевые заслуги» за спасение сержанта. Десмонд Уилкоккс, капитан. Кавалер ордена. Тот, кто делал шаг вперед, когда других одолевали страх, или усталость, или сомнения. Разве этого было мало? Знать, что это сделал ты? Помнить? Но когда отшумели праздничные гулянья и флаги вернулись на чердаки, оказалось, что он не верит ни во что. Ни в Бога, ни в короля Георга, ни в государство всеобщего процветания. Что-то ушло. Может быть, утонуло в Рейне. Геройски погибло на поле боя. Она изо всех сил пыталась понять, но разве маленькой девчужке такое под силу? Сейчас, когда она стала старше, намного старше, чем был он тогда, ей думалось, что она поняла. Пустоту. Поняла, что можно прочувствовать нечто настолько глубоко, что уже не избавишься до конца от этих чувств. Каким словом называют ощущение, когда ничто уже не имеет смысла? Единственный раз, когда она спросила его про войну, он поморщился, будто съел что-то гадкое, и произнес: «Ах, про это...» У него не было слов для такого рассказа, не больше, чем у нее сейчас, – для рассказа о том, каково это: каждую ночь переходить через реку по мосту из плавучих бревен и гадать, удастся ли ей на нем удержаться или следующий шаг ввергнет ее в пучину.

Последнее лето своей жизни он часами просиживал на старой, крытой ситцем кровати-качалке под ивой, смоля одну сигарету «Вудбайн» за другой и наблюдая, как лужайка тонет в наползающих сумерках, пока не тонул в них сам и от него не оставался лишь красный пульсирующий огонек сигареты. Как же ей хотелось вернуть его назад, спасти его, так же, как он спас того сержанта. Ее

мать не была на это способна – она целыми днями сидела на кухне, слушая по радио Альму Коган и Ронни Хилтона[9 - Популярные в Великобритании 1950-х годов певцы-исполнители.], до крови обкусывая себе ногти. Поэтому пошла она: перешла в полумраке лужайку и встала перед ним, в надежде, что нужные слова сами собой придут ей в голову, что небеса даруют ей красноречие. Но этого не случилось; он поднял взгляд и пристально посмотрел на нее сквозь сигаретный дым, словно из-за оконной рамы с толстым стеклом. Может, ему было ее жаль – ведь он знал, зачем она пришла, и знал, что напрасно. Но он не сказал ей: «Присядь, Алиса, присядь, дочка, давай-ка попробуем вместе понять эту горькую правду: любовь – это еще не все, люди не всегда могут вернуться обратно», – а сказал как бы между прочим, словно возвращаясь к недавнему разговору: «Знаешь, у них были огнеметы». И она кивнула: «Да, папочка», – и ушла, убежала в свою комнату и зарыдала в подушку. Потому что она должна была сделать это, должна, но не сумела.

Лето закончилось, нагрянули доктора, первые заморозки. Суэц. В день, когда он умер, они с Сэмюэлем сидели в гостиной и слышали, как наверху, в спальне, что-то стукнуло, словно упал небольшой предмет – ваза или что-нибудь в этом роде, и ее мать закричала: «Десмонд! Десмонд! Десмонд!»

Когда стемнело, пришла мисс Бернар – обрядить покойного. БЕРНАР, моя дорогая, а не БЕРнар. Поставила зонтик в слоновью ногу у входа. По-мужски пожала всем руку. Перепутала причину папиной смерти. Она внушала пожилым людям страх, потому что, казалось, знала, где ее услуги потребуются в следующий раз. У нее было особое чутье. Сэмюэль заплатил ей – гинею? – и в ту ночь они так и не легли спать, слушая, как вода льется через край водосточного желоба, потому что никто не выгреб из него опавшие листья. В каком же они были смятении! Шорох дождя. Отец, до странного неподвижный. Дыхание Сэмюэля на ее щеке, словно легкое касание пера.

Дзинь!

Пузатые часы в футляре красного дерева в гостиной пробили половину первого; они всегда спешили на пять минут (так же, как бабушкины часы в холле всегда на пять минут отставали) и издавали мелодичный звон в две ноты, и висевшая на цепи маленькая серебряная луна с задумчивым ликом, над которой Стивен трудился несколько дней, поднималась на четверть дюйма. Тик-так, тик-так, тик-так. Словно капли воды сквозь сито ее костей.

В Америке сейчас обед. Ларри с Кирсти и Эллой наверняка сидят за столом и едят какое-нибудь приготовленное Кирсти причудливое «здоровое» блюдо, хотя никто из них не жаловался на здоровье, если не считать Эллиной астмы, а из этой мухи не стоило делать слона. Кирсти вроде увлеклась буддизмом? Раньше был веганизм, сайентология и еще бог знает что. Беспокойные люди эти американцы. Каждый мечтает стать Питером Пэном или феей Колокольчик. Глупо это выглядит, когда целая страна бежит куда-то в погоне за счастьем. А если его не находят, то просто впадают в панику. Но люди там добрые. Щедрые. К тому же Ларри был там очень счастлив, хотя она всегда надеялась, что он вернется домой. У нее на видеокассетах были все серии «Генерала Солнечной долины». Она так и не поняла, почему его перестали снимать. Он говорил про художественные разногласия. Но что это значило? Особенно художественным этот сериал назвать было нельзя. А когда на прошлое Рождество она ездила в Сан-Франциско, то увидела, что он часами лежит на большом диване перед телевизором и пьет («Это всего лишь пиво, мама. Не волнуйся!»), и тут же с ужасом вспомнила Стивена.

Она закрыла книгу, вложив перо вместо закладки, и выключила ночник. Комната на мгновение исчезла, потом медленно проступила снова – знакомыми серыми контурами. Ощущение, будто ты ребенок, которого отправили спать, когда еще не совсем стемнело, и вот теперь лежишь и гадаешь, чем занимаются взрослые, немного удивляясь, что мир и без тебя продолжает вертеться, что ты вроде как ему и не нужен.

Она слышала, как за окном на террасе Алек двигает стулья. Она знала, что ему нравится там работать, он растворяется в работе, будто затыкает уши ватой. Бедный мальчик. Теперь, когда у него есть эта пьеса – какого-то мрачного русского, который пишет по-французски, – у него появилось прекрасное оправдание. Она не просила его приезжать! Бродит по дому словно живой упрек. Это выводило ее из себя. Что ему от нее нужно? И почему он не оденется по-человечески? Тридцать четыре года, а выглядит как студент. Нет чтобы купить пару приличных рубашек...

В груди, высоко слева, лениво царапнула когтем боль, и она закрыла глаза. Дощатые стены, старые балки и перекрытия, остывая, потрескивали и перешептывались. Воздух словно заговорил. Ожил. Наполнился чьим-то неявным присутствием.

Поздним утром в Сан-Франциско поток машин со скоростью пешехода тек на юг, в сторону Маркет-стрит. Ларри Валентайн барабанил пальцами по рулевому колесу своего темно-зеленого «тендерберда» «Таун Ландау» и сквозь затонированные зеленым стеклом наблюдал, как в парке кучка пожилых китайцев играет в маджонг, приспособив скамейку вместо стола. Вечером на следующий день ему предстояло везти Эллу в Чайнатаун на урок фортепиано к мистеру Йипу. Эти занятия предложил профессор Хоффман – они должны были помочь девочке выразить себя, выбраться из своей раковины-ракушки. Он-то и порекомендовал Йипа, который обходился им не дешевле самого Хоффмана; однако, прозанимавшись восемь месяцев и разучив пятнадцать тактов «Лунной сонаты» и пьесу под названием «Волшебный сад господина Ксао», Элла осталась все таким же упрямо замкнутым ребенком, каким она была всегда. При мысли о том, что им придется вместе лететь в Англию, ему было неуютно. Кто знает, какие штучки она выкинет за те десять часов, что они просидят в металлическом цилиндре, да и потом тоже.

На Четвертой автостраде поток транспорта немного рассосался, и на Сто первой он уже мчался на юг, ровно выжимая шестьдесят миль в час (неплохая скорость для его старенькой машины), а слева от него о воды бухты разбивались солнечные лучи. Он нащупал сигарету в пачке на пассажирском сиденье, закурил и переключил радио с одной коммерческой радиостанции на другую в поисках чего-нибудь в стиле кантри: когда-то такая музыка казалась ему смешной, но теперь он находил ее успокаивающей и честной. До аэропорта оставалось еще двадцать минут – достаточно, чтобы прокрутить в уме предстоящий день и решить, не стоит ли развернуть машину и поехать назад. В конце Бродвея был отличный бар с прохладными деревянными панелями изнутри и парой столиков на улице для курильщиков. Или «У Марио», где можно съесть focaccia[10 - Итальянский пирог.] и вскользь похвалиться шапочным знакомством с Фрэнсисом Копполой. Он мог бы даже поехать домой. Как-никак вся кухня была в его распоряжении (в холодильнике стояли две упаковки пива «Ред Тейл», по шесть банок в каждой), ведь Кирсти уехала на курсы дзендо в японский квартал и сидит там себе, скрестив ноги на мате, отгадывает загадки и учится дышать.

По радио Чарли Рич[11 - Исполнитель американской музыки в стиле кантри-вестерн.] затянул «The Most Beautiful Girl». Ларри прибавил звук и стал подпевать во весь голос, с таким пылом, что женщина, сидевшая за рулем

обгонявшего «тендерберд» купе цвета «металлик», бросила на него неодобрительный взгляд – этот крупный мужчина определенно был с собой не в ладах, – прежде чем оставить его за кормой, выкинуть из головы, как любого другого представителя кочующего племени, этих пяти, или десяти, или пятидесяти процентов, которые в любой момент времени не в состоянии, фигурально выражаясь, свести концы с концами. Он раздавил сигарету в полной окурков пепельнице. Ему тридцать шесть, и, несмотря на сентиментальный призыв гитарных переборов, плакать он не собирается. Все утро, проснувшись в одиночестве, задыхаясь, словно последние пять часов он плыл под водой, скованной толстой коркой льда, он чувствовал неизбежность очередной серии отвратительного чувства падения в никуда, какое он частенько испытывал с тех пор, как дни в «Солнечной долине» стали для него сочтены, – каждый раз о его приближении возвещали особые симптомы. Например, он стал, как неврастеник, придирчиво следить за своим сердцебиением, прислушиваясь к глухому тиканью часов своей жизни, и за самим органом, за это тиканье отвечающим, мышцей, в которой в перепутавшихся цепочках дезоксирибонуклеиновой кислоты были зашифрованы тот час, минута и секунда, когда дразнящая пауза между двумя ударами растянется до бесконечности. В надежде определить, что же с ним происходит, он отправился в «Барнс энд Ноубл» полистать домашние медицинские справочники (эта секция в магазине была самой оживленной) и так долго вчитывался в вопросы для самопроверки на цветных плашках: «Сопровождается ли кашель кровотечением? Не изменился ли цвет стула?» – что в конце концов обнаружил у себя целый букет новых болячек, и ему показалось, что он вряд ли сможет выйти из магазина без посторонней помощи. За что ему выпало такое наказание, Ларри не знал; разве что он слишком долго испытывал судьбу, считая, что раз ему однажды повезло, то будет везти и дальше, без каких-либо усилий с его стороны. Что-то пошло не так, и сейчас было уже не важно почему. Важно было не сдаться, не пасть духом, как в игре, где он продул два сета подряд и только-только начал сравнивать счет, – и на последнем повороте перед аэропортом он задержал дыхание, сильнее сжал руль и немного наклонился вперед, словно следя, как противник на другом конце корта подбрасывает мяч для роковой первой подачи.

В международном аэропорту Сан-Франциско он остановился у стойки Британских авиалиний, чтобы забрать билеты в Лондон. Два билета на третье июня и еще один – для Кирсти – на десятое. День рождения Алисы был восемнадцатого.

Девушка за стойкой, медовая блондинка с легким персиковым пушком на лице, который на свету отливал золотом, поинтересовалась, не будет ли у него каких-

нибудь особых пожеланий насчет еды.

– Моя жена, – сказал Ларри, – сейчас увлекается буддизмом, поэтому ей подойдет что-нибудь с высоким содержанием клетчатки, вроде суси. Дочь не станет есть ничего, хоть немного похожего на еду. Я же съем все, что в два часа ночи вы сможете мне предложить.

Она расцвела улыбкой. Все, что подается в полете, разрабатывается группой диетологов. В меню входят вегетарианские блюда и блюда для детей. Учитываются любые пристрастия. Ларри улыбнулся в ответ и сказал, что очень этому рад. Ему было интересно, узнала ли она его: американцы обычно не стесняются говорить о таких вещах. «Эй, а вы не...?» Мелькать на телеэкране означало причаститься истинных благ демократии, но за те полтора года, что прошли после его «расставания» с сериалом (он тогда одурел от ярости и низкопробного кокаина, а Л. Ливервиц-младший, новый режиссер, уже четырнадцатый, одурел от ярости и чересчур большой дозы экзотических витаминов), он стал меньше походить на доктора Барри – обходительного, импозантного мужчину, который привносил в хай-тековские коридоры «Солнечной долины» толику английского лоска, и больше – на его дядюшку, более грузного, скорее румяного, чем загорелого.

– Вам понравилось в Калифорнии? – спросила она.

– Я здесь живу, – ответил он.

– Тогда вам точно здесь нравится.

Она вручила ему конверт из плотной глянцевой бумаги, в котором лежали билеты, и, поскольку на этом ее обязанности закончились, ее порыв профессионального восторга угас. Ларри попрощался и положил билеты в карман. До рейса оставалось пятнадцать минут. Он проглотил без воды розовую таблетку занакса и поспешил к своему выходу мимо выстроившихся в аккуратные очереди пожилых туристов (тайваньцы? корейцы?), спрашивая себя, как отреагировала бы девушка у стойки, если бы в порыве откровенности он выложил ей всю правду о том, куда он летит и зачем. Он представил, как она нажимает секретную кнопку тревоги у себя под столом и его уводит служба охраны аэропорта, и, впихнув в кабинет с зеркальными стеклами, совладав с его бешенством, надевает на него наручники. А может, он недооценил ее. Кто знает,

какова ее личная жизнь, какие драмы переживает она, когда вечером возвращается с работы домой? В ее возрасте по лицу мало что угадаешь. А как еще?

Рейс был точно по расписанию – забит под завязку, как всегда в середине дня. Деловитые пассажиры гуськом входили в салон и усаживались на свои места, выключая мобильные телефоны. Некоторые тут же начинали брифинги с коллегами – для Ларри их разговоры были просто бессвязным бормотанием, странной смесью конторского сленга и эвфемизмов. Особи помоложе восхищали превосходной физической формой, как будто все, как один, были членами дорогих спортклубов – так оно, скорее всего, и было. На некоторых были элегантные очки; многие захватили с собой портативные компьютеры. Но больше всего их объединяло сознание цели: они принимали решения, двигали горы и потрясали основы основ, и по сравнению с ними он – бывший спортсмен и бывшая звезда мыльной оперы – был чем-то вроде безделушки на книжной полке, барочной завитушки.

Рядом с ним – а он-то надеялся, что это место никто не займет! – в последний момент села женщина с маленькой девочкой. На женщине было длинное мешковатое черное платье с этническими узорами и похожая на клобук шапочка, из-под которой на лоб выбивалась пара густых каштановых кудряшек. Искоса поглядывая на нее, пока самолет вырубивал на взлетную полосу, Ларри определил, что она намного моложе, чем казалась на первый взгляд: лет двадцать пять – двадцать шесть, хотя словно нарочно одета так, чтобы выглядеть старше и менее привлекательно, – вся в загадочных напусках и складочках, возможно придуманных, чтобы оградить себя от излишнего контакта с внешним миром. Девочке у нее на коленях было годика три-четыре, она была худенькая, вялая, болезненная на вид, с самыми темными и грустными глазами на свете.

Он приветливо улыбнулся женщине, которая, вместо того чтобы улыбнуться в ответ, сказала:

– Ну вот, рвота, – с таким густым нью-йоркско-еврейским акцентом, что Ларри сначала решил, что это, должно быть, имя девочки, и начал перебирать в уме отважных героинь Ветхого Завета, пока женщина вытаскивала из кармана на спинке переднего сиденья гигиенический пакет.

– Надеюсь, ее не вырвет на вас, – сказала она таким тоном, будто, случись такое, виноват был бы он сам.

Девочка у нее на коленях заерзала.

– Хочешь вырвать? – спросила мать и, решительно положив руку ей на затылок, ткнула личиком в пакет – прошла не одна минута, прежде чем девочка оттуда вынырнула, до смешного несчастная, скорчившись от отвращения, и на обеспокоенный взгляд Ларри ее глаза ответили смесью враждебности, усталости и робкой мольбы. Он сочувствовал ей, думая, что понимает ее разочарование во всех и вся, и когда они летели над потертой Калифорнийской пустыней, а кромка побережья справа по борту сверкала лазурью и перламутром, он изо всех сил старался заставить девочку улыбнуться – игра, в которую он часто играл с Эллой, отличавшейся такой же серьезностью и раздражавшим его мистическим знанием сути вещей, что и эта бледненькая еврейская девочка.

На всех детских фотографиях, большая часть которых так и осталась в «Бруклендзе», был ли он запечатлен на фоне сада, переливающегося радужными цветами пленки «Кодак», или на фоне яркой зелени спортивной площадки, или плечом к плечу с Алеком на море в Бретани или в Ирландии, везде на его лице сияла неизменная широкая улыбка. Даже когда он стал подростком, готовым по любому пустяку громко хлопнуть дверью, а кожа у него вокруг рта целый год саднила от неумелых попыток бриться, его лицо никогда не переставало выражать добродушный оптимизм паренька, который отлично ладит со всем миром. Несчастные дети и даже дети, только казавшиеся несчастными, будили в его очень легко поддающемся внушению сознании призрак тьмы, от которого даже невинность не могла защитить и с которым он продолжал упорно, даже немного отчаянно вести борьбу.

Девочка наблюдала за ним, выглядывая из-за черных складок на материнской груди, – сначала украдкой, а потом посмелее, когда мать отвлеклась, требуя у стюардессы отыскать на тележке с закусками пакет чипсов с буквой «К» – «кошерный». Ларри сморщил нос, поморгал, скосил глаза, нахмурился, подражая девочке, но все это не произвело никакого впечатления. Она еще больше насупилась в ответ на его гримасы, выказывая поистине царственное неодобрение, и он начал сначала, на этот раз осторожно добавив номер с отрыванием большого пальца – один из любимых фокусов Эллы, – но только когда самолет заложил вираж над побережьем, разворачиваясь в сторону Лос-

Анджелеса, а внизу потянулись акры аккуратных домиков, автострады и сверкающие на солнце потоки машин, она соизволила наконец развеселиться, и ее лицо засияло такой лучезарной улыбкой, что ему пришлось отвернуться. Он посмотрел на свои руки (на левой – обручальное кольцо, правая, которой он когда-то держал ракетку, до сих пор в буграх мускулов) и заговорил сам с собой, заговорил, спрятавшись за маской собственного лица, освобождаясь от страха, что он вот-вот совершит – в этом чрезвычайно общественном месте – что-нибудь совершенно неподобающее. Расхохочется, как гиена, или скрючится в проходе, или погладит один из каштановых завитков над бровями у матери девочки – что-нибудь такое, что наверняка будет иметь потрясающие последствия. Конечно, это было частью нового напряжения, новой дерзости, которую он готовился совершить, и это вынуждало его постоянно следить за собой и себя одергивать. Но особенно сильно его тревожило все более настойчивое чувство протеста, стремление к разоблачению, импульс, чей истинный смысл оставался для него неясным, но который, как в свое время для его отца, мог стать для него разрушительным.

Одна из стюардесс с лицом, одеревеневшим от избытка косметики и усталости, сидевшая на откидном сиденье у аварийного выхода, наблюдала за ним без тени сочувствия и, казалось, собиралась что-то сделать, но они резко пошли на снижение, самолет уже летел вровень с крышами зданий аэропорта, и времени оставалось только на то, чтобы наскоро помолиться («Боже, не дай нам разбиться и умереть...»).

Деловые люди напряженно выпрямились, держа пальцы на кнопках мобильных телефонов, готовые их включить. На кухне что-то упало; кто-то натужно засмеялся. Когда они коснулись земли, девочка снова нырнула личиком в пакет.

5

Над некоторыми словами и на полях Алек острым карандашом делал пометки. При свете ветроустойчивого фонаря (в самую безветренную из ночей) он нота за нотой познавал музыку новой пьесы, и, теперь, когда в его голове наконец-то улеглись посторонние мысли, слагал близкую к тексту, подражательную песнь перевода.

Он не был знаком с Ласло Лазаром и знал, как тот выглядит, по фотографии, вырезанной из журнала «Санди телеграф», на которой был изображен хрупкого сложения человек с коротко подстриженными седыми волосами и большими глазами – их зрачки поражали яркостью и глубиной. Была зима, и Лазар стоял на берегу пруда в Люксембургском саду – Алек частенько забредал туда во время своих одиноких прогулок в тот год, который провел за границей в Cite Universitaire[12 - Университетский городок (фр.)]. Но особый флер снимку придавал сверток, который Лазар держал в руках, прижимая к серому пальто. Может, книга или что-нибудь из ближайшей кондитерской, воскресный торт например, но из-за этого свертка вид у него был немного конспираторский, как у анархиста девятнадцатого века, который направляется подложить бомбу в редакцию реакционной газеты. Это вместе с глуповатым заголовком: «В молодости Лазар умел держать в руках автомат», – утвердило Алека во мнении, что драматург был романтическим героем с таинственным, полным опасностей Прошлым, какого у него самого никогда не было и не будет.

Миллионы людей отдали жизни за то, чтобы мир стал таким, каким его знал Алек. Это ему повторяли в школе каждое Поминальное воскресенье перед тем, как протрубит горн и шеренги мальчишек замрут в молчании – их уже не попросят сыграть свою роль, потому что это сделали за них другие, другие положили свою жизнь, как покровы из парчи и шелка на алтарь свободы, чтобы, по крайней мере в Англии, диссидентов не увозили по ночам в камеры пыток и старушка демократия могла и дальше мирно дремать после обеда. И в этом было великое достижение, триумф, потому что не было человека, который не знал бы, потому что видел сам или по рассказам, что война – это ад. Он дважды – один раз по телевизору, другой раз по видео – смотрел документальный сериал «Воюющий мир», в котором Лоуренс Оливье рассказывал об ужасах русского фронта, Хиросимы, концлагерей. В более современных примерах тоже не было недостатка. Иран и Ирак. Афганистан. Чечня. Бесконечные войны в Восточной и Центральной Африке. Войны, подобные «Буре в пустыне», которые велись с хрестоматийной жестокостью, сопровождаемые пресс-конференциями и выступлениями генералов из Центрального штаба. Войны, полные неопишемого кровопролития, в которых сосед убивал соседа, как те, что с таким трудом прекратились в Хорватии и Боснии. Война так и осталась основополагающим занятием для огромной части земного шара. Но Алек жил в Англии и наблюдал эти бросающие в дрожь бесконечные картины насилия, от которых жителям всей Британии хотелось блевать, с безопасного расстояния, в воскресных выпусках новостей. И он понимал, что должен быть за это благодарен. Его расстраивало, что люди гибнут в дорожных авариях. Когда торговец рыбой при нем начинал чистить свой товар, к горлу у него подкатывала тошнота. Он был

изнежен и постоянно простужался. Его линией фронта стали те четыре года, что он проработал учителем французского в государственной школе в южной части Лондона, в конце срока (в один особенно черный вторник вскоре после рождественских каникул) он просто сбежал. Но он так и не освободился полностью от наивной мечты, в которой сражался на баррикадах плечом к плечу с таким человеком, как Ласло Лазар, или бежал под огнедышащим небом вместе с дедушкой Уилкоксом, вынося с поля боя истекающего кровью товарища. Было до смешного обидно сознавать, что у него никогда не будет фотографии, на которой он стоял бы, исполненный достоинства, на Тутинг-Коммон, с подписью: «В молодости Валентайн умел держать в руках автомат». Он не был создан для такой жизни.

С тех пор как он стал переводить Лазара, между Парижем и его квартиркой в Лондоне пролетели тучи электронных сообщений: вопросы по тексту и ответы – скупые и точные, – которые подписывал не сам Лазар, а некая «К. Энгельбрехт», надо полагать, его секретарша (Катрин? Катя?). Алек должен был встретиться с Лазаром в сентябре на официальном приеме в Лондоне, где будут присутствовать директор Королевского попечительского совета и всякие актеры, дизайнеры, технический персонал, менеджеры, участвующие в постановке. Если не случится ничего непредвиденного, премьера состоится в конце января.

Для Алека это, несомненно, самая важная работа, за которую он когда-либо брался. Марси Штольц, литературный менеджер Совета, видела его новый перевод «Le Medecin malgré lui» [13 - «Лекарь поневоле», пьеса Ж.-Б. Мольера.] для театра «Рат-хаус» в Хэрни, – она как раз искала, кем заменить Криса Элиарда, постоянного переводчика Лазара, который пропал с борта своей яхты при загадочных обстоятельствах, когда в одиночку пересекал Генуэзский залив. Штольц позвонила Алеку и пригласила его на обед в «Орсос» в Ковент-Гардене – он никогда прежде не бывал в ресторане такого класса – и после спаржи и равиоли с омаром предложила ему этот контракт, пояснив, что эта новая пьеса для Лазара – что-то вроде авторской интерлюдии, пусть не вполне оптимистической, но уж точно не мрачной. «О неких событиях, исполненных неявной красоты, и все такое прочее» – так она выразилась, держа в одной руке вилку, а в другой «Мальборо лайт», вперив в Алека заинтересованно-задушевный взгляд. Платили, как обычно, мало – «с огромной радостью предложила бы значительно больше», – но достаточно, чтобы, при разумном подходе, бросить ненавистную ему «техническую» работу (в последний раз он

переводил документ о тормозных системах для Национальной французской железной дороги). Осушив два бокала белого вина и распрощавшись со Штольц – он чуть ли не кланялся, когда она втискивалась в такси на Веллингтон-стрит, – он до вечера гулял по Риджентс-парку: улыбался владельцам собак, выгуливающим своих питомцев, туристам и даже полицейским, которые в ответ осторожно кивали – такая непривычная приветливость казалась им подозрительной. Наконец-то он стал человеком с будущим! И хотя он уже давно бросил тягаться с братом – тщетность этого занятия открылась ему еще в начальной школе, – сейчас, когда на его стороне Лазар, он сможет выбраться из его чересчур густой тени. Он позвонил Алисе из автомата где-то возле Марилбона, спотыкаясь на каждом слове, смущаясь того, как много значит для него ее одобрение, и с неопишим облегчением услышал энергичное: «Молодец, Алек!» Но по пути домой, когда ноги его загудели от долгой ходьбы, а голова – от выпивки, эйфория сменилась беспокойством и разочарованием, словно кто-то отдернул шторы и впустил свет в комнату, которая была пригодна для жизни, только когда в ней царил мрак.

Пьеса называлась «Охугипе»[14 - Кислород (фр.)]: в картонной папке – шестьдесят семь страниц машинописного текста, на которых лаконично, сжатыми фразами рассказывалось о трагедии на шахте в Восточной Европе. Для постановки была предусмотрена крутящаяся сцена с двумя декорациями: «надземной» и «подземной», поворачивающимися к зрителю поочередно. Действие начинается взрывом, в результате которого шахтеры оказываются заперты в узкой штольне. Наверху команда спасателей и родственники пытаются разобрать завал. Надежда остается до конца первого акта, но к началу следующего становится очевидно, что спасательные работы могут иметь только один исход. Под землей шахтеры изо всех сил пытаются смириться со своей участью. Для одного из них это всего лишь Его величество факт: камня слишком много, сил слишком мало. Второй находит успокоение в религии, вверяя себя воле Создателя. Третий клянет владельцев шахты, которые заставили их продолжать добычу, несмотря на предупреждения о том, что туннель небезопасен. В середине акта между двумя шахтерами вспыхивает драка, но из-за нехватки воздуха они могут только обхватить друг друга в медленном танце, как пьяные любовники. Отчаяние заполняет пространство, словно газ. Даже те, кто наверху, становятся его жертвой, жадно ловя воздух, будто им тоже нечем дышать. Но когда все усилия уже кажутся тщетными, один из запертых в штольне, Георгий, ветеран шахты, поднимается, собирает последние силы и снова начинает долбить скалу, а наверху молодая женщина, возможно обезумев от горя, поднимает брошенную кирку и неумело вонзает ее в

землю. Огни рампы меркнут, и зрители остаются в темноте, наполненной размеренным стуком металла о камень, который, как подчеркивается в тексте, должен быть «звучком торжествующим, но в то же время насмешливым».

Для Алека сила пьесы стала очевидной, стоило ему раз бегло прочитать рукопись сразу после того, как курьер на мотоцикле – чье появление произвело глубокое впечатление на мистера Бекву – в начале апреля доставил ее к нему в квартиру. На следующий день он привез ее в «Бруклендз», куда Алиса, формально еще в состоянии ремиссии, пригласила его подышать свежим воздухом, и там прочитал во второй и в третий раз, сидя в саду под пологом из яблоневого цвета.

Штольц была права. В пьесе совсем не было уныния и скептицизма предыдущих работ Лазара, в основном благодаря одному из персонажей – Георгию, который в молодости мог бы послужить моделью для статуи советского рабочего-ударника и взирать на самого себя, отлитого в монументальной бронзе посреди городского парка, а сорок лет спустя, растеряв все иллюзии и освободившись от догмы, стал просто порядочным человеком с первозданным мужеством и первозданной моралью – качества, которые так превозносил Камю. Раз наверху в него верила та молодая женщина, кто осмелится сказать, что их спасение невозможно? Конечно, поверить в это было трудно, очень трудно, но ничто в тексте не возбраняло в это верить.

В разгар весеннего цветения сад в «Бруклендзе» был неукротим, беспорядочен, почти буен; земля гудела, как разогретый мотор. Алиса отказалась от последних ограничений своей мудреной диеты, и они съездили в магазин деликатесов в Ковертоне и купили ее любимые лакомства: пармскую ветчину, яблочный струдель, мороженое «Венетта», печенье с коньячной пропиткой – то, что она ела в золотые годы, когда и речи не было о биопсиях и прочих анализах.

Работая, Алек чувствовал, что мать поглядывает на него поверх книги, которую она читала, и ему было приятно ощущать на себе ее взгляд, его теплоту и тяжесть, и пусть в нем всегда была доля критики, он был уверен, что с таким чувством на него никто никогда не смотрел и не посмотрит. Три дня, три теплых апрельских дня – теперь, уйдя в прошлое, они казались ему целой весной, и больше всего его поразило то, что он тогда совсем не сознавал своего счастья, что оно не оставило на нем никакой отметины, даже самой крохотной, – он никак не мог подобрать антоним к слову «шрам».

На следующей неделе она позвонила ему домой рано утром, он был еще в постели. Ее голос звучал сбивчиво, подавленно и даже раздраженно, и он ехал к ней, полный дурных предчувствий. Даже погода испортилась, и за анализами в больницу они ехали сквозь пелену мороси, по дороге, блестящей, как растаявшее серебро. Он ждал ее на больничной стоянке, слушая радио и разглядывая местный пейзаж из сборных домиков, запыленных деревьев и похожих на казармы зданий, откуда суетливо выбегали люди, натянув на головы пальто и куртки или сражаясь с зонтиками, которые упрямо отказывались поворачиваться против ветра. Ей сделали сканирование и анализы крови, а потом пришлось десять дней ждать результатов. Даже за такое короткое время перемена в Алисе стала очевидной, измеримой. Платье цвета морской волны, которое она надела на прием к Брандо, выглядело на два размера больше, а макияж, наложенный гуще обычного, казался неумелой попыткой скрыть происшедшие с ее лицом изменения: поблекшие черты, круги под глазами – словно синяки, оставленные бессонницей. Он припарковал «рено» как можно ближе к дверям онкологического отделения, но, когда он поспешил открыть дверцу с ее стороны и взял было ее под руку, она оттолкнула его и пошла к дверям сама, с наигранной бодростью бросив «здравствуйте!» медсестре, которую, как ей показалось, она узнала. Ее не было сорок минут. Когда она вышла, задержавшись на ступеньках, чтобы перевести дух, было такое впечатление, что где-то в недрах этого уродливого здания ее разобрали на части, а потом собрали снова – наспех и неудачно. Даже сесть в машину стало невероятно трудно – целая пантомима немоции. Он увидел, что ее глаза налились кровью, а щека покраснела, будто она что-то прижимала к лицу.

Она сообщила ему новости по дороге, обращаясь к ветровому стеклу и пересыпая речь медицинскими терминами, которых нахваталась от докторов за последние годы. Когда она замолчала, Алек внезапно почувствовал себя ребенком, который в каком-то диком страшном сне оказался за рулем отцовской машины. Как им вписаться в следующий поворот? Как остановиться? Потеряв голову, он пытался найти нужные слова (ведь может же быть, что ситуация не так безнадежна?), но когда пришел момент их высказать, когда от него потребовалась всего лишь искренность сродни той, что демонстрируется в американских мыльных операх по пять вечеров в неделю, он не смог выдать из себя ни звука. И хотя он уже представил, как притормаживает у обочины, чтобы обнять ее, выставляя напоказ свою боль, он не сделал этого из страха, что любые его слова или жесты окажутся до вульгарности неуместными. Еще, возможно, из страха перед тем, что могло бы случиться, сумей он выразить свои чувства.

В «Бруклендзе» она вежливо поблагодарила его за то, что подвез. Дождь перестал, тучи рассеялись, и вечер оказался неожиданно тихим и лазоревым. Он вошел в дом, чтобы приготовить чай (на следующий день он обнаружил, что чашки так и остались нетронутыми), потом понаблюдал за Алисой из окна на втором этаже – как она ходит по саду, от клумбы к клумбе, и с екнувшим сердцем усмотрел в этом обряд прощания.

К восьми она легла в постель. Он сел за кухонный стол и написал Ларри жесткое, натянутое, яростное, жалостливое письмо («Помнишь нас? Свою семью?»), которое тут же порвал, спрятал клочки в стаканчик из-под йогурта, а стаканчик засунул поглубже в мусорное ведро. Позже он поговорил с Ларри по телефону и, поняв по голосу, что тот потрясен, почувствовал, что гнев испарился, сменился желанием всецело поручить себя заботам брата, положиться на него. Они проговорили почти полчаса, когда Ларри сказал с такой нежностью, что Алек не отважился ответить: «Я приеду, братишка. Продержишься?»

Опустив страницы на колени, Алек закрыл глаза, снял очки и потер переносицу. Он уже долго работал при неверном свете одинокой лампы, и от напряжения у него разболелась голова. Когда он открыл глаза, его взгляд упал на остатки кирпичной стены, сплошь увитые кремовыми и розовыми розами, – когда-то эта стена полностью отделяла террасу от сада, но при жизни отца ее разобрали, оставив только небольшой участок для цветов. Это были розы Алисы, и, взглянув на них, он увидел ее – образ, видение, уже начавшее тускнеть: быстрыми, точными движениями она обрывала увядшие бутоны. Насекомые прятались во влажной сердцевине цветов и, возможно, разрушали их. Иногда они заползали под манжеты ее блузки, и она вытряхивала их оттуда, не то чтобы с безразличием, но и без лишней брезгливости. Она была не из тех женщин, которые визжат при виде паука или мыши. Не раз он видел, как она усмиряла внезапно выскочивших из-за поворота огромных псов. А история о том, как она дала отпор пьянчуге, который размахивал перед ней разбитой бутылкой на многоэтажной автостоянке в Бате, давно стала их любимым семейным преданием. Как же еще было вести себя дочери героя Арнема, который – вылитый Ларри в версии сороковых годов – гордо взирал из серебряной рамки, стоящей вместе с фотографиями других предков на ореховом серванте в столовой.

До сих пор мужество ей не изменяло. С самого начала она говорила о том, что «надо жить с этим», что означало вести себя достойно и не впадать в истерику. Но кому по силам сопротивляться болезни, которая, казалось, обладает собственным коварным разумом? Которая ненавидит жизнь, но с упоением ею питается? Однажды наступит день или ночь, такая ночь, как сейчас, и она не сможет больше «жить с этим», и кому-то другому придется держать удар. Что тогда? Он посмотрел на рукопись. «Удары молотков, стук металла о камень, звук торжествующий, но в то же время насмешливый».

6

Ласло Лазар стоял на лестничной клетке и, перегнувшись через перила, смотрел вниз – его сосед, месье Гарбар, тоже вышел из квартиры и смотрел вверх. В руке Гарбар держал красно-белую клетчатую салфетку – знамя прерванного обеда. У него за спиной в дверях стоял Гарбар-старший, он был слеп, и его лицо, как всегда, выражало осторожное удивление.

– Что-то с духовкой, месье, – бодро сообщил Ласло. – Небольшой взрыв.

Он пожал плечами, всем своим видом показывая, что подобные происшествия, конечно, неприятны, но и в них можно найти что-то забавное. Гарбар-младший кивнул, хотя и не ответив на улыбку Ласло. Они были соседями вот уже пятнадцать лет, и, не зная никаких существенных фактов, – так, Ласло не знал, чем занимается Гарбар-младший, – они узнали друг друга довольно неплохо, свыклись друг с другом. Как только Ласло услышал выстрел, такой невероятно громкий и как ничто в мире похожий именно на пистолетный выстрел, он уже знал, что Гарбар выйдет из-за стола и направится к двери за объяснениями. Ласло подозревал, что его соседи питали стойкую неприязнь к эмигрантам, даже к тем, кто прожил в их стране сорок лет, знает ее и любит, и говорит на их родном языке не хуже них самих, а иногда и лучше. Конечно, у Гарбаров могли быть и другие причины его недолюбливать. Трудно было сказать, насколько его жизнь была для них открыта.

– Прошу прощения, месье, за то, что нарушил ваш обед. Bon appétit!

Соседи вернулись в свои благопристойные апартаменты. Ласло осторожно закрыл дверь, стараясь не наделать еще шума, который прозвучал бы как стук, взрыв, выстрел, и по выложенному паркетом коридору – спинному мозгу своей квартиры – поспешил в гостиную, которая находилась в дальнем его конце. Перед тем как выйти успокоить Гарбаров, он удостоверился, что там никто не пострадал. Теперь же, не зная, считать это забавным недоразумением или чем-то ужасным, он вошел в комнату, как детектив из рассказа о таинственном убийстве в загородном доме, – такие рассказы в невзрачных венгерских изданиях он иногда почитывал в детстве.

Его секретарь Курт Энгельбрехт, с коротко подбритыми пшеничными волосами, что подчеркивало изящную форму черепа, расстегивал воротник Франклину Уайли, а Лоранс стояла по другую сторону стола, с глазами, полными слез, и роняла пепел сигареты на ковер. Франклин, посеревший от ужаса, но уже начинающий гордиться собой, распластался на диване. На льняной скатерти, возле пиалы со свежими финиками, словно дорогой столовый прибор, лежал пистолет.

– Во что ты попал? – спросил Ласло.

Франклин дрожащим пальцем указал на книжную полку в конце комнаты, и Ласло направился оценить нанесенный ущерб. Пуля застряла в корешке томика стихов, лежащего на самом верху. Он вытащил томик и показал его гостям.

– Ты застрелил Рильке. Фашист.

– Я не знал, что эта хреновина заряжена, – запинаясь, сказал Франклин.

Курт опустился на колени и обмахивал американца программкой к «Мадам Баттерфляй».

– Да он просто игрушечный! – съязвила Лоранс.

Ласло пожал плечами и осторожно наполнил четыре рюмки «Житной».

– Идиот, – спокойно сказал он, подавая Франклину рюмку.

Когда все выпили и вытерли губы тыльной стороной ладони – совершенно неизбежный жест, когда пьешь водку, – Ласло спросил:

– Кто-нибудь сумеет его разрядить?

Но судя по всему, ни у кого не было желания прикоснуться к пистолету, хотя он просто лежал на столе, свернувшись калачиком рядом с финиками, – предмет, способный причинить увечье. В конце концов, бормоча про себя, что он – единственный взрослый в комнате с трудными подростками, и именно так себя и чувствуя, Ласло набросил на пистолет салфетку, осторожно завернул и понес по коридору в свой кабинет – комнату площадью в двадцать квадратных метров, окна которой выходили на юг, на бульвар Эдгара Кинэ и кладбище, где упокоились Сартр, де Бовуар и славный Беккет. В комнате было два письменных стола: тот, что ближе к окну, был завален бумагами, исписанными каталожными карточками и десятком черных капиллярных ручек «Пентелс», которыми Ласло обычно писал. Второй стол, побольше, купленный на распродаже, был оснащен компьютером, телефоном-факсом и лампой с зеленым абажуром на массивной бронзовой подставке. Бумаги на нем были сложены в аккуратные стопки, а на углу стояла ваза с пахучими желтыми фрезиями. Здесь работал Курт: набирал письма, вел бухгалтерию, отвечал на звонки – словом, заботился о том, чтобы драматург тратил больше времени на творчество, чем на жизнь.

Ласло включил лампу и развернул пистолет. Это была маленькая «беретта» тридцать второго калибра с коротким стволом, не предназначенная для боевой стрельбы, пистолет для шпионов, полицейских, выполняющих секретные задания, и нервных домохозяек. Он вынул его из белого дамста. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках оружие – целая жизнь, – и его заморозила исходящая от этого предмета таинственная энергия. Пистолет весил не больше старинного серебряного портсигара или увесистой книги карманного формата – «Отверженных» например, – но при этом не оставлял никаких сомнений ни в предназначении своем, ни во власти, которую даровал, стоило сомкнуть пальцы вокруг его рифленой рукоятки. Он мог бы сейчас пойти и пристрелить Гарбаров, приставить пистолет им к затылку и нажать на курок – пиф-паф! – чтобы они ткнулись лицом прямо в тарелки с супом. Или, если вдруг его званый ужин не будет иметь успеха – телятина подгорит или беседа окажется скучной, – он за минуту пустит в расход всех гостей. Или, если уж мир нанесет ему такую обиду, возможно, будет проще пустить в расход самого себя, как несколько лет назад сделал друг его отца, тоже врач, свесившись за окно, чтобы не забрызгать мозгами ковер, и не оставив

никакой записки, никакого объяснения, кроме собственного тела, лежащего на подоконнике. Возможно ли прожить жизнь, ни разу не испытав – пусть на час или два – искушения переступить роковую черту самоубийства? *Se donner la mort*. Подарить себе смерть. Какое расстояние нужно пройти от замысла до воплощения? Возможно, не очень большое, даже совсем небольшое, если у вас есть приспособление вроде «беретты», и все, что требуется, – это просто нажать на курок. Когда он был молод и, по очевидным причинам, мысль об этом не раз приходила ему в голову – являясь в самом соблазнительном обличье, представляясь завершением изнурительной и безысходной борьбы с самим собой, он знал, что никогда не пойдет на это, пока жива его мать. Но она умерла в восемьдесят девятом и была похоронена в Вене, где прожила последние годы жизни вместе с дядей Эрно; он помнил, как мысль эта вновь пришла к нему в поезде, когда он направлялся в Вену в последний раз, остаточная жажда смерти, которую он вдруг стал волен утолить, потому что не было никого, кроме матери, кто бы оказался не в силах пережить это, не оправился бы от потери. Он поднял пистолет и коснулся виска шелковистой поверхностью дула, представляя (не без удовольствия) разговоры после похорон, как друзья смотрят друг на друга и качают головами: «Ему же было для чего жить! Ты-то понимаешь, почему он это сделал?»

Дважды прозвонил телефон, смолк, запищал, и из пасти факса пополз лист бумаги. Ласло снова завернул «беретту» в салфетку, торопливо, будто его застали позирующим перед зеркалом. Показались напечатанные жирным черным шрифтом слова: «Правосудие по-сербски», а потом – не совсем четко, но разборчиво – фотографии, смотреть на которые он не хотел, но от которых не смог отвести взгляд. Спина женщины, почерневшая и распухшая от ударов. Тело мужчины, лежащее ничком в канаве. И неизбежная концовка: женщина в платке, потерянная, напуганная, протянувшая руки в отчаянной мольбе, – образ, который мог бы послужить эмблемой всему двадцатому веку. Он не в первый раз получал подобные материалы. С начала марта к нему приходили карты, фотографии, статистические сводки, свидетельства кошмаров. Он так или иначе знал их источник и снова почувствовал прилив негодования, оттого что к нему обращаются с подобными просьбами. Политическая макулатура! Курт мог бы разобраться с ней утром, сунуть в какую-нибудь папку. Если бы он умел, то отключил бы факс, сломал бы его, потянув за жгуты проводов, что тянулись к розетке, но он совершенно ничего не смыслил в том, что до сих пор называл «новыми» технологиями, и не хотел, чтобы Курт полдня на него дулся.

На полке у него над столом на табло радиобудильника цифры 8.59 сменились на 9.00. Кароль должен был прийти с минуты на минуту, а на кухне нужно еще

много чего сделать, прежде чем можно будет сесть за стол. Но когда он выходил из кабинета, ему представилось, что факс все ползет и ползет, всю ночь напролет, бумага заполняет стол, падает на пол, ее шуршащие рулоны поднимаются к потолку. Нескончаемый протест. Прорицание. Неустанный призыв к оружию.

7

Закинув пиджак на плечо, Ларри пробирался к выходу из Лос-Анджелесского аэропорта. Впереди него шла та самая молодая еврейка с девочкой на руках – их встречала группа еврейских мужчин с пейсами и в ермолках, один из которых, великолепно сложенный молодой человек с бородой мягкой и блестящей, словно волосы на девичьем лобке, судя по всему, был отцом девочки, и та вскарабкалась к нему на руки, позабыв про тошноту, гордая и смешливая, воссоединившаяся со своим героем, спасенная.

Ларри понаблюдал за ними немного, украдкой, из-за спин столпившихся под информационными экранами людей. Как было бы здорово, если бы он вдруг стал частью той маленькой группы и разделил их счастье! Он представил себя в накрахмаленной белой рубашке, и что зовут его, к примеру, дядюшкой Рубеном, и что у него превосходная бледная кожа, какая дается в обмен на определенного рода праведность. Он – владелец магазина тканей в центре города или кошерной гастрономической лавки, и его пальцы слегка пахнут пикулями. *Vi gay'st du*[15 - Как поживаешь? (искаж. нем.)], Рубен? Присоединяйся к нам!

Он пошел дальше, зашел в один из баров тут же, в зале аэропорта, заказал порцию «Будвайзера» и уселся с ним на высокий табурет рядом с деревянным индейцем. Это была всего лишь третья порция пива за день – первые две он выпил дома на кухне перед дорогой, – и он полагал, что не выходит за разумные рамки. Правда, некоторые из его калифорнийских знакомых считали его алкоголиком, потому что ему ничего не стоило выпить в один присест бутылку, или даже полторы, вина «Напа велли» или шесть банок пива за то время, пока по телевизору идет сериал, но они не видели, как пьет настоящий алкоголик, а он видел и поэтому знал, в чем разница.

Его отец, Стивен Валентайн, последние полгода своей жизни прожил как законченный пьяница, не заботясь больше о том, чтобы разбавить утреннюю стопку водки апельсиновым соком или запить предобеденный виски глотком кофе. Он потреблял эти напитки в чистом виде с какой-то отчаянной бравадой, не скрывая больше истинной силы и жестокости томившей его жажды. И в этом была своего рода гордость наоборот, упрощавшая положение, освобождая их от утомительного и постыдного притворства, жалких отговорок, что, мол, «папочка просто немного устал». Хотя в каком-то смысле так оно и было; он действительно устал, устал безумно от попыток построить жизнь так, как, по его мнению, следовало, устал жить, словно агент под прикрытием, нести в одиночку бремя, которым он не мог поделиться ни с женой, ни с психоаналитиком: бремя законченного неудачника.

Братья быстро научились мириться с его приступами ярости, когда вечерами он кружил вокруг дома, словно смерч, выкрикивая обвинения и пытаясь найти затерявшуюся в прошлом первопричину того, что с ним произошло, неверный поворот, который привел его к краху. Но еще труднее, чем ярость, было выносить приступы грубой сентиментальности, когда он вваливался в детскую, полный желания побыть со своими сыновьями, поиграть с ними, как это делали другие отцы. Но от него несло выпивкой, и они не хотели с ним играть – громогласным, неистовым, отвратительным в своем пьяном восторге. Если Алиса видела, что ситуация выходит из-под контроля, она набрасывалась на него – необузданный материнский инстинкт, подчинявший себе их всех, грозный и непорочный, – и Стивен закрывался у себя в мастерской или в старой беседке, где Ларри однажды днем увидел его, его спину, поникшие плечи – он сидел среди мешков с прошлогодними яблоками, сосредоточившись на бутылке, работая над ней, а потом вдруг, потревоженный тенью, повернулся к окну и увидел сына, долгим взглядом посмотрел сквозь затянутое паутиной стекло, и этот взгляд открыл Ларри истину – подобные уроки усваиваешь раз и навсегда: не алкоголь убивает пьяницу, а неразделенное бремя душевных мук.

Алек надеялся на Ларри. Ларри надеялся на Алису. Но на кого было надеяться ей? К чьей силе или примеру взывала она в ту ночь, когда на пороге их дома стоял полицейский в сбрызнутой дождем флуоресцентной куртке и спрашивал, не ее ли муж ездил на голубом «ровере». Мальчики, проснувшись от боя часов, выскочили на лестницу – дверь в коридор была открыта. Они поняли, что случилась авария, – иначе зачем полицейскому заходить к ним в полночь, – но подробности (скользящая дорога, скорость, неосвещенный поворот, машина, вылетевшая за ограждение) они узнавали постепенно, из разных источников, в течение месяцев и даже лет. Некоторых вещей Ларри так никогда и не узнал:

какие именно раны получил отец, умер ли он сразу или какое-то время лежал, лицом прижатый к рулевому колесу, и слушал, как дождь глухо барабанит по крыше машины. Какие мысли приходят в голову человеку в такую минуту, пока нейроны еще не начали беспорядочно взрываться? Почувствовал ли он, что спасен, когда Смерть наконец-то добрела до него по мокрой земле и увела с собой? Ушел ли он простить себя? Хоть чуть-чуть порадоваться?

Ему потребовалась минута, чтобы прийти в себя, вернуться к реальности, – он посмотрел на суеотящуюся толпу и с восторгом отметил, что несколько человек практически вляпались друг в друга. Ему отчаянно хотелось курить, но на большей части штата Калифорния в барах курить запрещено, и зажечь здесь сигарету было бы все равно что для Кирсти пройти по центру Тегерана в бикини. Он допил пиво и направился к стоянке такси, где служитель усадил его в огромный раздолбанный «форд» со стикером на бампере, гласившим: «Если я подрежу тебя, не стреляй!» Ему в нос ударил сильный запах экзотической еды. Ларри спросил, можно ли ему закурить.

– Ни в коем случае! – заявил водитель, толстый коротышка с безупречными манерами, который, как выяснилось, был родом из города Огбомошо, что в Нигерии, и, судя по тону его голоса, явно разрывался между сочувствием к Ларри и гордостью за экстравагантные запреты своей второй родины.

Ларри кивнул и попытался устроиться поудобнее на пухлом блестящем сиденье, разглядывая проплывающие за окном пустыри, утыканные мотелями, рекламными щитами, мини-маркетами и вагончиками закусочных. Он бывал в этом городе много раз. «Генерал Солнечной долины» в основном снимался на студии где-то в районе улицы Лас-Пальмас, и когда доктор Б. был неотъемлемой частью сценария, его доставляли на съемки в длинном белом лимузине. Но место, где он оказался на этот раз, когда такси свернуло с автострады на Санта-Монику, мегаполис, багровеющий под пологом смога, так и остался для него полной тайной. Слишком яркий, слишком большой, слишком грязный, слишком чужой – возможно, Лос-Анджелес всегда был конечным пунктом его американской одиссеи, фронтиром, которого он так и не смог толком достичь.

Уже десять лет с тех самых пор, как он снялся в своих первых рекламных роликах, когда его теннисная карьера забуксовала, и номер в мировом рейтинге упал до трехзначного, продолжался его роман с этой страной. Он впервые увидел Нью-Йорк, Манхэттен из окна «линкольна» Натана Слейтера, когда в

октябрьских сумерках тот вез его в свой офис на семнадцатом этаже, прямо над Медисон-сквер. Тем же вечером в компании двух-трех таких же, как и он, «открытый» Слейтера они отправились в «Палм» в Ист-Сайде поесть омаров. Ларри было двадцать шесть, его заворожили предупредительность Слейтера, сводка бейсбольных новостей по радио (как раз тогда проходил ежегодный чемпионат США по бейсболу), струйки пара, поднимавшиеся из трещин в дорожном полотне, и больше всего – у него даже дух захватило – филигранная красота увенчанных коронами небоскребов (он специально вытягивал шею, чтобы их увидеть).

Для Алисы – и для Алека, наверное, тоже – Культура, Красота и Стиль были понятиями европейскими, или, еще точнее, французскими. Америка ассоциировалась у них с Голливудом, Вегасом и невежеством. С постоянной суматохой и плохой едой. Она была безнадежно вульгарна. Но для Ларри и его друзей Америка была чем-то вроде последнего оставшегося на земле места, где происходили настоящие события, страной, где человек все еще волен был вписать свою жизнь в историю. После уроков они, шестеро подростков, болтались в закусочных «Уимпи» или «Литл шеф», садились друг напротив друга за стол, посреди которого красовался пластмассовый помидор с кетчупом, и попыхивали «Кравен эз» или «Лаки страйком», выкуривая по полсигареты на раз, потом аккуратно вытряхивали пепел и оставляли вторую половину на завтра. Они зачитывались Луи Ламуром, Жаком Керуаком и Хемингуэем. Некоторые, не Ларри, доросли до Мейлера, Апдайка и Рота. По субботам они собирались у кинотеатров «Гоумонт» или «Одеон», одетые в футбольные куртки с эмблемами американских колледжей из бристолевских секонд-хендов, торгующих импортом, и добавляли себе лет, чтобы посмотреть, как Клинт Иствуд или Чарльз Бронсон выходят из самых больших на свете машин и вынимают из плащей самые большие на свете пистолеты. На родительских музыкальных центрах с хромированными панелями они слушали Дилана и Хендрикса, Моутаун, Лу Рида, Тома Петти, Заппу, Патти Смит. Пересыпали свою речь американизмами: «круто», «блеск», «супер», вездесущим «мэн». И между ними само собой разумелось, что рано или поздно они поедут туда, поедут на Запад, оседлают «мустангов» и перемигнутся с девушкой в забегаловке, заказывая яичницу; хотя, насколько Ларри знал, он был единственным из своих друзей, кто действительно туда поехал, единственным, кто воплотил в жизнь то, о чем они бредили, будучи подростками.

Он еще не допил свой первый бокал мартини в «Палм» – первый бокал мартини в жизни, – как Англия показалась ему далеким, сумрачным островом, куда ему было незачем возвращаться, ну разве что съездить иногда в «Бруклендз».

Прилетел, улетел. Он оказался лицом к лицу с будущим и почти оцепенел от благодарности и обуявшего его оптимизма. На следующий вечер в апартаментах Слейтера в Гринвидж-Виллидж для него началась вечеринка с рослыми красотками и кокаином, которая продолжалась все то время, пока шла рекламная кампания роскошных автомобилей – вроде британских, – и последовала с ним по всей стране, до самой Калифорнии; жемчужное ожерелье поздних и еще более поздних тусовок становилось все длиннее с каждой новой маленькой ролью, и наконец, его карьера достигла своей вершины в роли доктора Барри Кечпоула, сделав его почти известным и почти богатым, хотя, что любопытно, все меньше и меньше удовлетворенным, словно в какой-то роковой час, вспомнить который ему было не суждено, он нарушил закон причины и следствия, и с тех пор чем больше он пил, тем меньше пьянел, и чем больше бывал на тусовках, тем меньше удовольствия получал, и вот однажды утром, выйдя в туман Сан-Франциско, он наткнулся на самого себя – беспечного, как мотылек, женатого на женщине, которая плачет во сне, и отца маленькой девочки, которая за свой недолгий век повидала больше докторов, чем иные нормальные и здоровые люди видят за всю жизнь.

Требовались усилия, чтобы разобраться во всем этом. Его жизнь стойко сопротивлялась попыткам ее понять. Похоже, ему не хватало верного языка или чего там еще нужно в таких случаях – книг, времени, лекарств. Он потерял счет людям, которые предлагали ему пройти курс лечения, называли ему имена своих врачей со словами: «Лечит по Юнгу» или: «Гарантирует здоровый сон». Иногда ему казалось, что лучше всего было бы вернуться в сериал, но Кечпоула в нем больше не было (по жестокой иронии, волею сценариста он отправился в Англию ухаживать за больной матерью), а ссора с Ливервицем была слишком громкой для того, чтобы через неделю вернуться и снова хлебать унижение. Их разрыв был яростным и окончательным, и, по правде сказать, он был рад освободиться от гнетущей бессмысленности, от беспрестанной погони за призраками. Почему, кричал он Ливервицу, почему единственными пациентами клиники всегда оказываются друзья и родственники тех, кто там работает? Это нормально? Но вот уже восемь месяцев у его семьи не было серьезного источника дохода. Его последней оплачиваемой работой стал ноябрьский рекламный ролик «Чудо-хлеба». С тех пор было много обещаний, много разговоров за мятным джулепом и соком пырея, но никаких конкретных предложений. У него на счету в Калифорнийском банке лежало чуть больше десяти тысяч долларов плюс несколько тысяч фунтов стерлингов в Лондоне в акциях и облигациях. Еще были машины – Кирсти ездила на «чероки» девяносто третьего года – и дом, за который он почти расплатился. Кирсти вносила в семейный бюджет свой скромный вклад, работая на полставки в дневном интернате для людей с

трудностями в обучении, но ее заработка едва хватало на оплату телефонных счетов, которые утроились с тех пор, как заболела Алиса. Кокаин тоже не дешевел. А еще были расходы на лекарства от астмы для Эллы, большая часть которых не покрывалась страховкой. Взносы за обучение в ШКДБ[16 - Школа Кэтрин Дельмар Берк (Katherine Delmar Burke School) – элитная школа для девочек в Калифорнии.] и гонорары за фортепианные уроки Йипа. Поездки в Англию. Девочки. Налоги. Выпивка. Хоффман. Продукты. Этому не было ни конца ни края.

Он давно высчитал, сколько сможет унаследовать после смерти Алисы, высчитал, терзаясь от отвращения к самому себе, сразу после того, как у нее обнаружили рак легких, тогда еще в начальной стадии, зимой девяносто пятого. Небольшое будет наследство. Дом выставят на торги, но за старое здание, расположенное на краю топкой вересковой пустоши и требующее основательного ремонта, вряд ли удастся выручить кучу денег, к тому же половина, разумеется, отойдет к Алеку. Стоящие предметы обстановки, то есть обеденный стол, серебряные подсвечники, пара достойных картин, тоже из столовой, и кое-что из коллекции старинных часов, которую собрал Стивен, добавят еще три-четыре тысячи. Всего, по его подсчетам, – когда он их делал, то буквально сгорал от стыда – он сможет получить около сорока, ну, пятидесяти тысяч баксов. Но когда? Он уже начал занимать (Кирсти ничего об этом не знала) у людей с бойцовыми собаками в качестве домашних питомцев, у людей, которые говорили: «Мы ведь понимаем друг друга?» или: «Ты классный парень», но которые определенно сумели бы разобраться с нерадивыми должниками.

Ларри и бывший житель Огбомошо въехали в «Город века», на Звездный бульвар, царство небоскребов и подземных торговых комплексов между Кантри-клубом и Ранчо-парком. Несколько секунд спустя они свернули на полукружие подъездной аллеи «Парк-отеля», где швейцар, одетый в красную с золотом ливрею королевского телохранителя, распахнул дверцу такси и оценивающе оглядел Ларри сквозь зеркальные солнечные очки. Ларри расплатился с водителем, отвалив щедрые чаевые. У бедняги было только одно ухо, второе было небрежно откромсано чем-то тупым, возможно, даже откушено. Отрываясь от глянцевої поверхности заднего сиденья, Ларри решил про себя, что этот человек познал самые темные стороны жизни и мог бы, сумеет Ларри подобрать к нему ключ, дать ему немало мудрых советов на этот счет. Помощь, как и неприятности, может прийти откуда угодно. Жаль только, что он упустил свой шанс.

Выйдя из такси, он закурил сигарету, которую сжимал в кулаке с самого аэропорта, и кивнул бифитеру[17 - Ларри называет швейцара бифитером (прозвище дворцовой стражи в Англии)].

- Далеко от дома забрались, - сказал он.

- Я из Пасадены, - ответил бифитер. - Вы дантист?

- Нет, - сказал Ларри, слегка задетый подобным предположением.

- Сейчас их в городе пятьдесят тысяч. Конференция.

Ларри слегка присвистнул и попытался представить, как многотысячная армия дантистов в белых халатах марширует, по десять в ряд, по великолепным бульварам и улицам Лос-Анджелеса. Потом, вспомнив строку из стихотворения, которое он декламировал когда-то в школе на конкурсе чтецов и за которое получил почетную грамоту, пробормотал: «Не думал я, что смерть сгубила столько...»[18 - Из поэмы Т. С. Элиота (1885-1965) «Бесплодная земля».]

- О чем это вы? - нахмурившись, спросил швейцар.

Ларри помотал головой:

- Думаете, будет еще жарче?

- Можете не сомневаться, - сказал бифитер. - Пекло будет адово.

Ларри затянулся в последний раз. Он принадлежал к тем, чьи легкие были настолько вместительны, что позволяли прикончить сигарету за четыре-пять больших затяжек - бумага сворачивалась, обнажая длинную колбаску пепла. Бифитер освободил его от окурка, который унес в какое-то тайное местечко. Ларри сверился с часами. Два пятнадцать по тихоокеанскому времени. Около десяти вечера в Англии, в «Бруклендзе». Дома?

- Спокойной ночи, мама, - сказал он и вошел внутрь, к дантистам.

Во сне Алиса видела, как ее старший сын театрально вылез из-под огромной плакучей ивы в родительском саду и направился к ней, говоря по-французски, что собирается ее спасти. «Je te sauverai, maman. Je te sauverai». Но даже во сне, по вине лекарств готовая в любой момент пробудиться, она понимала, что в этом представлении было что-то нескладное, неправдоподобное. Ларри не говорил по-французски: в шестнадцать он, несмотря на то что она занималась с ним дополнительно, решительно провалил экзамен по этому предмету. Способности к языкам были у Алека, но не Алек улыбался ей, стоя на лужайке. Сон смошенничал, и она проснулась в темноте, сбитая с толку, чувствуя себя так, словно над ней подшутили.

Мало-помалу она пришла в себя и через силу улыбнулась воспоминанию, как целый класс восьмилеток под ее терпеливым руководством нараспев зубрит спряжения французских глаголов.

- Je...?

- SUIS!

- Tu...?

- ES!

Среди них попадались медлительные, задумчивые, говорящие, что в голову взбретет, но выезжающие за счет других. Ей не нравилось их принуждать. У некоторых детей в восемь лет нужная часть мозга еще не работает как следует. Это не лень и не глупость. Действительно глупые дети попадались редко, и она не уставала повторять учителям помоложе: «Никогда не ставьте на ребенке крест. Никогда не думайте, что проблема в нем, а не в вас». Ничего особенно загадочного здесь не было. Алек, например, сидевший в первом ряду, похожий на совенка из-за больших круглых очков, волосы вечно всклокочены, никогда не испытывал трудностей с французским. Частично, и этого нельзя отрицать, благодаря тому что поначалу она сама с ним занималась, а он отчаянно хотел угодить ей – стремление, иногда очаровательное, иногда докучливое, из которого он так по-настоящему и не вырос, даже повзрослев. Она поняла это по

тону, каким он рассказывал ей про новую пьесу, – такой же голос бывал у него, когда он приносил ей на проверку домашнее задание, как будто его в любую секунду мог раздавить гигантский палец. Молодец, Алек. Хороший мальчик. Пойди найди Ларри. Je suis, tu es, il est. Ларри был королем спортплощадки. Капитаном крикетной команды. Капитаном футбольной команды. А потом, когда стал постарше, капитаном теннисной команды. Какой отважный мальчуган! Она всегда была рядом, болея за него до хрипоты на краю футбольного поля или корта на соревнованиях, которые становились все крупнее, сердце билось у нее в горле, когда он метнулся к задней линии, и мальчишка на дальнем краю площадки подпрыгнул в воздух, чтобы достать до мяча. В день, когда он побил того шведа, чье имя, по всей видимости, напрочь выскользнуло у нее из памяти, она была горда, как никогда в жизни. Ей хотелось закричать с трибуны, чтобы услышал весь мир: «Я его мать! Я его мать!» Конечно, Алеку приходилось трудно. Сравнения были неизбежны. Его всегда представляли как «брата Ларри», будто собственного имени у него не было. Но она всегда старалась делить материнскую любовь поровну – насколько это было возможно. Любимчика у нее не было.

Как же звали того шведского мальчишку? Она с минуту рылась в памяти, но тщетно: на месте его имени свежим мазком расплылось черное пятно. Пустота. То же самое с именем старшего сына миссис Сэмсон, а ведь они говорили о нем только вчера утром, пока миссис С. пылесосила кровать и «раскладывала все по полочкам». И с названиями десятка цветов, и... что это было, что она позабыла третьего дня? Что-то еще, название одной из ее любимых опер или имя диктора радионовостей – его-то она прекрасно знала. То, что ей вспоминалось, зачастую оказывалось совершенно случайным, как будто ее жизнь превратилась в старый чулан, по которому память блуждала, подобно пьяному с фонариком в руке; и перед ней то возникал четкий, как фотография, образ мясного прилавка в «Теско», то вспоминался слово в слово разговор с Тони про ее пуделя. Она не хотела хранить это в своем сознании, не хотела, чтобы последним ее воспоминанием оказался пудель Тони, парящий над ней по ту сторону жизни, подобно флорберовскому попугаю.

Динь! Динь! Динь!..

Маленькие сине-белые часы из яшмы в нише внизу лестницы. Только десять вечера! Какими ужасно длинными стали ночи! Как же ей хотелось, чтобы кто-нибудь положил руку ей на лоб, чтобы кто-нибудь сказал: «Все будет хорошо, все будет хорошо...» Она бы обрадовалась даже бедняге Стивену, тому, каким

он был в молодости, в педагогическом колледже в Бристоле, где они познакомились, попыхивающему своей дурацкой трубкой, отпускающему шуточки, разглагольствующему о политике, с густым манчестерским акцентом – он был уроженцем Сталибриджа. Конечно, он уже тогда пил, но они все пили – это тоже было частью молодости, – много спорили и курили до одури. До рождения Алека он держался в пределах разумного. А потом, вместо того чтобы позволять себе лишку по пятницам и субботам, начинал надираться в пабе по дороге из школы домой и продолжал дома перед телевизором или в мастерской. Думал думу, пил, воображал себе новых недругов, выстраивая свой собственный замысловатый ад. Все говорили, что он стал больше пить после того, как упустил вакансию заведующего кафедрой в школе Короля Альфреда. Были и те, кто видел причину в том, что ему не удалось стать преподавателем колледжа – только средней школы, что он по-настоящему не любил детей, но это было не так. В Стивене что-то сломалось еще до того, как они познакомились. Бог знает, в чем было дело. Разговоры по душам он называл «пустой трепотней», и она устала от попыток его расшевелить. Возможно, он и сам этого не знал, не всегда понимал, что с ним происходит. Есть вещи, которым трудно найти название. Как ее раку. В чем была его причина? В стрессе? В сигаретах? В несчастливой судьбе? Просто был в ней какой-то тайный изъян. Тоненькая трещинка, которая однажды превращает дом в руины. Никто из нас, думала она, никто из нас не в силах пережить самое себя.

Он часто орал на нее – поначалу это было для нее настоящим потрясением, потому что на нее никто еще так не орал, и она никогда прежде не видела, каким неопишимо отвратительным становится человек, когда так орет. Но ударил он ее только раз, хотя и этого было довольно. Ткнул в спину после идиотской ссоры из-за Каллагэна[19 - Джеймс Каллагэн – британский премьер-министр (1976–1979) от лейбористской партии.] или профсоюзов. Это было на кухне. Она что-то сказала ему и пошла прочь, как вдруг он набросился на нее и толкнул так, что она пошатнулась и схватилась за стену, чтобы не упасть. На секунду ей стало страшно, от неожиданности она оторопела. Потом повернулась к нему лицом, медленно и спокойно, потому что уже знала, как нужно вести себя с пьяными: так же, как с бешеными собаками. Не показывать страха. И когда их глаза снова встретились, когда он собрался с духом и посмотрел на нее, между ними разверзлась пропасть, которую им уже не суждено было преодолеть, и почти сразу она ощутила нечто вроде ностальгии, но не по нему, а по тому представлению о собственной жизни, из которого вдруг выросла. Он пил беспробудно весь день перед аварией. В основном водку, но может, и что другое. Полицейские сказали, что в машине нашли бутылки. Надо полагать, разбитые вдребезги.

Несколько месяцев спустя позвонила его мать, поздно вечером, и сказала, что другая женщина спасла бы его. «Ты не любила его так, как надо было любить. Ты не любила его как следует, не любила, Алиса. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Сука». Что? Сука – она так и сказала. И обе долго рыдали в трубки, потом всхлипнули и распрощались навсегда, лишь на дни рождения мальчиков приходили открытки с вложенными в них пятифунтовыми банкнотами.

Трое мужчин за всю жизнь. Едва ли ее можно назвать Мессалиной. Руперт Лэнгли, который был ее первым возлюбленным, партнером по теннису и кавалером, парень, которому она подарила свою девственность. Потом Сэмюэль Пинедо. Потом Стивен. Еще те, с которыми она неловко обжималась на танцах до замужества, или те, кто – в годы после аварии – приглашал ее на ужин или в театр и целовал на прощание, не выходя из машины.

Она до сих пор иногда играла в «если бы...», гадая, какой могла быть ее жизнь, проживи она ее с Сэмюэлем. Если бы он сделал ей предложение. Если бы она согласилась. Если бы. Ей было тринадцать, когда она познакомилась с ним, с тем, кого «папа знал на войне». Мужчина с черными набриллиантенными волосами, он стоял в прихожей, прислонившись к подоконнику. Худой, бледный, с сильно выступающим кадыком. Красавцем не назовешь. Но что-то шевельнулось в ней от его пристального взгляда. Она не знала, что это было, не могла подобрать названия, но позже, размышляя об этом, решила, что он был первым мужчиной, который увидел в ней женщину, а не ребенка, и в этом была его щедрость, рыцарство, которое даже почти пятьдесят лет спустя по-прежнему ее завораживало.

У его семьи был алмазный бизнес в Амстердаме. Они были евреями из старинного испанского рода. Абсурд? Когда к власти пришли нацисты, его родителей, дядьев, двоюродных братьев и двух сестер отправили в польские концлагеря. Сэмюэлю удалось спрятаться, как той девочке, Анне Франк, хотя, конечно же, повезло ему больше. Он спасся. Переправился в Англию в рыбацкой лодке. Через полгода вернулся. Помогал организовывать рейсы спасения, пока его не схватили. После освобождения королева Вильгельмина наградила его медалью, которую он носил в кармане пиджака вместе с сигаретами и зажигалкой.

Когда они встретились снова, ей было уже восемнадцать. Девятнадцать – когда они стали любовниками. Тогда он служил в посольстве в Лондоне, в Гайд-Парк-гейтс, и по выходным приезжал к ним, садясь на поезд на Пэддингтонском вокзале, а она ездила с отцом встречать его, дрожа от ужаса при мысли, что он мог сойти на какой-нибудь другой станции, со своим переброшенным через руку плащом и маленьким чемоданчиком, и теперь улыбается какой-нибудь другой девушке. Ее отец называл его «евреем высшего сорта». Должно быть, он догадывался о том, что происходило за его спиной, но никогда ничего не говорил. В те времена люди предпочитали молчать о подобных вещах.

Жив ли сейчас Сэмюэль? Если жив, ему должно быть около восьмидесяти, – трудно такое представить. Как-то раз она видела его имя в «Таймс». Член делегации ООН где-то в странах третьего мира – значит, добился успеха. Выбилась в люди.

Господи! Однажды они занимались этим в садовом сарае, на верстаке. Порванные чулки, синяки на заднице, бензиновая вонь газонокосилки. Его спина была покрыта шрамами. Десяток багровых рубцов – когда она спросила, откуда они, он подмигнул ей и сказал, что это память об одной девице из Амстердама, у которой были чересчур длинные ногти. Но ногти не оставляют таких следов. Она часто прикасалась к ним, очень нежно, словно его спина была смятым бархатом, который она могла разгладить своими пальцами. Как он жил со своей болью? А если она все же взяла над ним верх? Может, он тоже начал пить? Или у него был кто-то, кто помогал ему, когда становилось особенно тяжело? По его словам, заниматься любовью было все равно что танцевать. Она практически ничего не знала о сексе до Сэмюэля и после него не узнала почти ничего стоящего.

В тот год, когда умер ее отец, его отозвали обратно в Голландию. Он оставил ей кольцо – не бриллиантовый перстень, а обручальное кольцо своей матери, внутри которого завитушками было написано ее имя: «Марго». Оно было ей слишком мало, да и неправильным было бы его носить. Это был просто подарок на память. Кольцо маленькой еврейской женщины. Маленькой еврейской женщины, превращенной в пепел.

Как чудесно было бы верить, что она вновь встретится с ним «по ту сторону» – на каком-нибудь небесном коктейле, где каждый будет молод и привлекателен, а Нэт Кинг Коул[20 - Негритянский джаз-певец, был особенно популярен в 1950-е годы.] будет петь «Когда придет любовь». Но она в это не верила, не верила даже, что существует эта «другая сторона». Остатки ее веры смысла

химиотерапия. Ночь, что она провела, скорчившись в рвотных судорогах над ведром, а над ней – пустота на многие мили. Никакого милосердного Иисуса. Никаких святых или ангелов. Вера оказалась всего-навсего детской сказкой – прав был Стивен. Надувательство. Осборн был безобидным. Старомодным. «Сутана, припорошенная пылью, забрызганная Божьей росой»[21 - Строка из стихотворения Р. С. Томаса (1913–2000) – уэльского поэта-священника.]. Она позволяла себе дразнить его, а он всегда хорошо относился к мальчикам. Наверное, даже имел на нее виды, когда она овдовела. То и дело заглядывал в гости на стаканчик хереса, предлагал подстричь газон, отвозил мешки для мусора, набитые вещами Стивена, на благотворительные распродажи. Хотел ли он добиться ее? Затем ли он бежал через луг, держа наготове свои уловки, стоило ему услышать ее шаги? Ей надо было поговорить с ним. «Давайте без недомолвок, Деннис, милый, я сейчас слишком слаба, чтобы дать вам от ворот поворот». А он потом волен сказать что угодно. То, что окружающим будет легче переварить.

Но неужели все кончится? Неужели она, в чьей голове рождаются все эти мысли, – всего лишь мозг, который умрет, когда израсходует остаток кислорода? Конечно, в ее теле есть что-то еще, незримая тень, часть ее существа, которая любит Моцарта и Сэмюэля Пинедо. Может, это «что-то» будет жить и дальше, хоть как-то? Или загробная жизнь продолжается лишь до тех пор, пока тебя помнят, и ты умираешь – по-настоящему, – когда тебя по-настоящему забывают? Дети в школе будут помнить ее с год или два. Они подарили ей открытку с надписью: «Скорейшего выздоровления!», нарисовав на обложке школу и старательно написав внутри свои имена, некоторые добавили «целую». «ДОРОГАЯ МИССИС ВАЛЕНТАЙН! МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СКОРО ПОПРАВИТЕСЬ!» Ряды сияющих чистотой мордашек, что пристально смотрели на нее во время утренних сборов. Удаляющийся грохот шагов мистера Прайса, который всегда держал спину прямо, словно шест проглотил. Талантливые, все до единого. Вот и утро. Невероятно, но сын Брандо был одним из них. Тогда она уже вела уроки только в одном классе, но ей казалось, что она его помнит, симпатичного мальчика примерно того же возраста, что и Алек. Теперь он врач, как и его отец. Еще один врач! Под конец доктора остаются единственными, с кем поддерживаешь знакомство, хотя Брандо, по крайней мере, настоящий человек. Она могла бы в этом поклясться. Какое облегчение она испытала, когда он заменил Плейфейра, того напыщенного коротышку, который смотрел на нее свысока, потому что она была женщиной. Строил из себя великого умника, а сам не знал ничего.

Когда она приходила на прием к Брандо, прежде чем ее состояние снова ухудшилось – регулярных осмотров он не отменял, – они больше говорили о детях или о себе, чем о раке. Его отец был итальянцем-военнопленным – сидел в лагере под Сомерсетом, а после войны женился на местной девушке и открыл ресторанчик в Бристолле – этим ресторанчиком до сих пор управляет какой-то его племянник. Брандо говорил, что иногда во сне он чувствует запах домашней поленты, а она со смехом признавалась, что ей часто снится чатни ее матери и дни, когда она его готовила: кухня, полная пара, немного сладкого, немного пряного, который не выветривался и за несколько дней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/endru-miller/kislodod/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

В обертках (фр.). (Здесь и далее – прим. ред.)

2

Фильм Жана-Люка Годара (1959).

3

Пьеса С. Беккета (1906–1989), написанная в 1958 г.

4

Очаровательная французская муза Франклина Уайли (фр.).

5

Слабосоленое (фр.).

6

Книга: какая бы ни была, всегда слишком длинна (фр.).

7

Имеется в виду летчик Манфред фон Рихтхофен, участник Первой мировой войны.

8

Имеется в виду эпизод Второй мировой войны: высадка англоамериканского воздушного десанта возле нидерландского города Арнем. Во время операции союзники понесли большие потери.

9

Популярные в Великобритании 1950-х годов певцы-исполнители.

10

Итальянский пирог.

11

Исполнитель американской музыки в стиле кантри-вестерн.

12

Университетский городок (фр.).

13

«Лекарь поневоле», пьеса Ж.-Б. Мольера.

14

Кислород (фр.).

15

Как поживаешь? (искаж. нем.)

16

Школа Кэтрин Дельмар Берк (Katherine Delmar Burke School) – элитная школа для девочек в Калифорнии.

17

Ларри называет швейцара бифитером (прозвище дворцовой стражи в Англии).

18

Из поэмы Т. С. Элиота (1885–1965) «Бесплодная земля».

19

Джеймс Каллагэн – британский премьер-министр (1976–1979) от лейбористской партии.

20

Негритянский джаз-певец, был особенно популярен в 1950-е годы.

21

Строка из стихотворения Р. С. Томаса (1913–2000) – уэльского поэта-священника.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/endryu-miller/kislod-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)